
АЛЕКСАНДР
ПУШКИН

Полное собрание
стихотворений
В ОДНОМ ТОМЕ



2022
МОСКВА

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)1-5
П91

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В оформлении обложки использованы фрагменты работ художников
Николая Ге и Ивана Айвазовского

Иллюстрация в марке серии:
© Ilusletra CR/ Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Пушкин, Александр Сергеевич.

П91 Полное собрание стихотворений в одном томе / Александр
Пушкин. — Москва : Эксмо, 2022. — 768 с.

ISBN 978-5-04-171796-4

А. С. Пушкин (1799–1837) — величайший русский поэт, достигший в своем творчестве необыкновенной легкости, изысканности и точности выражения мысли. Его перу было подвластно все: философская, гражданская, любовная лирика, переводы, подражания древним, сатирические жанры, в том числе эпиграммы. Свои жизненные и мировоззренческие искания Пушкин воплотил в стихотворениях, в которых отразилась широта интересов и трансформация взглядов поэта. В книгу включены практически все стихотворения А. С. Пушкина.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)1-5

ISBN 978-5-04-171796-4

© Оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2022



В. ХОДАСЕВИЧ
КОЛЕБЛЕМЫЙ ТРЕНОЖНИК¹

В каждом художественном произведении находим ряд заданий, поставленных себе автором. Задания эти бывают различного порядка: философского, психологического, описательного и т.д. — до заданий чисто формальных включительно. Ставятся они не с одинаковой сознательностью. Часто в процессе творчества одна такая задача оказывается разрешенной полнее, чем другие, как бы подавленные, приглушенные, несущие лишь служебную роль. Но самая наличность ряда проблем в художественном произведении неизбежна; в частности, стихотворец, по самой природе своего ремесла, не может себе поставить менее двух заданий, ибо стих содержит в себе по крайней мере два содержания: логическое и звуковое.

Одно из самых поразительных свойств пушкинской поэзии, может быть — одна из тайн пресловутой ее гармоничности, заключается в необыкновенном равновесии, с каким разрешает поэт эти параллельные задания. Поразительно, с какой равномерностью делит он между ними свое внимание, с какой исчерпывающей полнотой одновременно разрешает их все.

¹ Речь на Пушкинском вечере в Доме Литераторов 14 февраля 1921 г.

В пьесе, которой смысл — благословение мирной, домашней, трудовой жизни, с равным вниманием изображен и добрый домовый, к которому обращено стихотворение, и молитвенное смирение обитателя дома, и, наконец, самое поместье, с его лесом, садом, разрушенным забором, шумными кленами и зеленым скатом холмов. Задачи лирика, передающего свое непосредственное чувство, и фольклориста, и живописца разрешены каждая в отдельности совершенно полно. В читателе одновременно и с равной силой затронуты три различных чувства. Трехпланность картины дает ей стереоскопическую глубину.

Подобные ряды параллельных заданий можно вскрыть в любом из творений Пушкина, но нигде его мастерство не достигает таких вершин, как в поэмах. Здесь поражает не только мастерство в разрешении заданий, но и количество их. Можно составить длинный перечень тем, получивших полную и глубокую разработку, например, в «Медном Всаднике». Это, во-первых, трагедия национальная в тесном смысле слова: здесь, как не раз указывалось, изображено столкновение петровского самодержавия с исконным свободолюбием массы; особый смысл приобретает эта трагедия, если на бунт бедного Евгения посмотреть как на протест личности против принуждения государственного, как на столкновение интересов частных с общими; особый оттенок получит эта трагедия, если вспомним, что именно пушкинский Петр смотрит на Петербург как на окно в Европу: тут вскроется нам кое-что из проклятейшего вопроса, имя которому — Европа и мы. Но нельзя забывать, что «Медный Всадник» есть в то же время ответ на польские события 1831 года, что бунт Евгения против Петра есть мятеж Польши против России. Наконец, как мне уже приходилось указывать, «Медный Всадник» есть одно из звеньев в цепи петербургских повестей Пушкина, изображающих столкновение человека с демонами. Однако сказанным далеко не исчерпаны задания поэмы. Прав будет тот, кто увидит в ней бесхитростную повесть о разбитых любовных надеждах маленького человека; прав и тот, кто вы-

делит из поэмы ее описательную сторону и подчеркнет в ней чудесное изображение Петербурга, то благоденствующего, то «всплывающего, как Тритон», из волн наводнения, которое, само по себе, описано с документальной точностью. Наконец, мы будем не правы, если не отдадим должного Вступлению к поэме как образцу блистательной поэтической полемики с Мицкевичем.

Но параллельные задания у Пушкина — тема большого, пристального исследования. Сейчас я коснулся ее затем только, чтобы на примере напомнить, как ряд заданий поэта придает его творениям ряд параллельных смыслов. Пушкин показывает предмет с целого множества точек зрения. Вещам своего мечтаемого мира он придает такую же полноту бытия, такую же выпуклость, многомерность и многоцветность, какой обладают предметы мира реального. Поэтому к каждому из его созданий приложим целый ряд критериев, как он приложим к вещам, окружающим нас. Подобно тому как художник, и геометр, и ботаник, и физик в одном предмете вскрывают различные ряды свойств, так и в творениях Пушкина разные люди усматривают разное — с равными на то основаниями. Воистину — *творец* Пушкин, ибо полна и многообразна жизнь, создаваемая его мечтой. Есть нечто чудесное в возникновении этой жизни. Но нет ничего ни чудесного, ни даже удивительного в том, что, раз возникнув, мир, сотворенный Пушкиным, обретает собственную судьбу, самостоятельно протекающую историю.

Исключительная многотемность Пушкина влечет за собой такую же исключительную многозначимость его произведений. И если творения всех великих художников, заключая в себе ряды смыслов, вызывают соответственные ряды толкований, то творения Пушкина принадлежат к числу наиболее соблазнительных в этом отношении. Этот соблазн вытекает из самой природы пушкинского реализма. Так что если к тому же мы примем во внимание естественное свойство критики отражать лицо критика по крайней мере в такой же степени, как и лицо поэта; другими словами, если припомним, с какой

неизбежностью произведения великих художников приобретают разные оттенки, значения, смыслы в глазах сменяющихся поколений и целых народов, то нам станет исторически понятно все многообразие смыслов, вскрываемых в произведениях Пушкина. Пушкина толковали и толкуют по-разному. Но многообразие толкований есть, так сказать, профессиональный риск гениев — и надо признаться, что в последнее время неожиданность суждений, высказываемых о Пушкине, начинает бросаться в глаза. Правда, многое намечается верно и зорко, но многое поражает отдаленностью от того непосредственного и непредвзятого впечатления, которое дается произведениями поэта; многое, наконец, положительно идет вразрез с непререкаемой ясностью пушкинского текста. Я имею в виду отнюдь не сознательные передергивания и подтасовки, совершаемые ради литературной, а то и просто житейской корысти, — хотя, к несчастью и стыду нашему, бывает и так. Но такие явления случайны и ничего не говорят о внутреннем соотношении между Пушкиным и нашей эпохой. Зато глубоко показательными представляются некоторые безукоризненно добросовестные труды, в которых даются толкования, находящие слишком смутное подтверждение в пушкинском тексте, делаются обобщения слишком смелые, высказываются гипотезы слишком маловероятные. Как один из примеров, со всевозможными оговорками, я бы все же решился назвать книгу Гершензона «Мудрость Пушкина», в высшей степени ценную и интересную по глубине и оригинальности многих мыслей. Немало верного сказано в ней о Пушкине — а все-таки историк литературы Гершензон, выступая истолкователем Пушкина, оказался человеком слишком иного уклада, нежели сам Пушкин: Гершензон стоит уже на той незримой черте, которой история разделяет эпохи.

И Гершензон не один. С каждым днем таких критиков, большего или меньшего значения, является и будет являться все больше. Если, как я уже говорил, лицо великого писателя неизбежно меняется в глазах сменяющихся поколений, то в наши дни, да еще по отношению к бесконечно многомыслен-

ному Пушкину, эта смена должна проявиться с особой силой. История наша сделала такой бросок, что между вчерашним и нынешним оказалась какая-то пустота, психологически болезненная, как раскрытая рана. И все вокруг нас изменилось: не только политический строй и все общественные отношения, но и внешний порядок, ритм жизни, уклад, быт, стиль. У нас новые обычаи, нравы, одежды, даже, если угодно, моды. Тот Петербург, по которому мы сегодня пойдем домой, — не Петербург недавнего прошлого. Мир, окружающий нас, стал иной. Происшедшие изменения глубоки и стойки. Они стали намечаться еще с 1905 года, 1917-й только дал последний толчок, показавший воочию, что мы присутствуем при смене двух эпох. Прежняя Россия, а тем самым Россия пушкинская, сразу и резко отодвинулась от нас на неизмеримо большее пространство, чем отодвинулась бы она за тот же период при эволюционном ходе событий. Петровский и Петербургский период русской истории кончился; что бы ни предстояло — старое не вернется. Возврат немыслим ни исторически, ни психологически.

И вот, в применении к пушкинскому наследству, из созданных условий приходится сделать некоторые выводы. Мало того, что созданиям Пушкина предстоит претерпеть ряд изменений в сознании читателей. Об этих изменениях я говорил только как о явственном признаке того, что Пушкин уже, так сказать, отделился от своего времени и вышел в открытое море истории, и ему, как Софоклу или Данту, предстоит обратиться толкованиями и комментариями. Должно произойти еще и другое.

В истории русской литературы уже был момент, когда Писарев «упразднил» Пушкина, объявив его лишним и ничтожным. Но писаревское течение не увлекло широкого круга читателей и вскоре исчезло. С тех пор имя Писарева не раз произносилось с раздражением, даже со злобой, естественной для ценителей литературы, но невозможной для историка, равнодушно внимающего добру и злу. Писаревское отношение к Пушкину было неумно и безвкусно. Однако ж, оно

подсказывалось идеями, которые тогда носились в воздухе, до некоторой степени выражало дух времени, и, высказывая его, Писарев выражал взгляд известной части русского общества. Те, на кого опирался Писарев, были людьми небольшого ума и убогого эстетического развития, — но никак не возможно сказать, что это были дурные люди, хулиганы или мракобесы. В исконном расколе русского общества стояли они как раз на той стороне, на которой стояла его лучшая, а не худшая часть.

Это было первое затмение пушкинского солнца. Мне кажется, что недалеко второе. Оно выразится не в такой грубой форме. Пушкин не будет ни осмеян, ни оскорблен. Но — предстоит охлаждение к нему.

Конечно, нельзя на часах указать ту минуту, когда это второе затмение станет очевидно для всех. Нельзя и среди людей точно определить те круги, те группы, на которые падет его тень. Но уже эти люди, не видящие Пушкина, вкраплены между нами. Уже многие не слышат Пушкина, как мы его слышим, потому что от грохота последних шести лет стали они туговаты на ухо. Чувство Пушкина приходится им переводить на язык своих ощущений, притупленных раздражающими драмами кинематографа. Уже многие образы Пушкина меньше говорят им, нежели говорили нам, ибо неясно им виден мир, из которого почерпнуты эти образы, из соприкосновения с которым они родились. И тут снова — не отщепенцы, не выродки: это просто новые люди. Многие из них безусыми юношами, чуть не мальчиками, посланы были в окопы, перевидали целые горы трупов, сами распоролы немало человеческих животов, нажгли городов, разворотили дорог, вытоптали полей — и вот вчера возвратились, разнося свою психическую заразу. Не они в этом виноваты — но все же до понимания Пушкина им надо еще долго расти. Между тем необходимость учиться и развиваться духовно ими сознается недостаточно, — хотя в иных областях жизни, особенно в практических, они проявляют большую активность.

И не только среди читателей: в поэзии русской намечается то же. Многие в Пушкине почти непонятно иным молодым

поэтам, — потому, между прочим, что они не всегда достаточно знакомы со всем окружением Пушкина, потому, что дух, стиль его эпохи им чужд и остатков его поры они уже не застали. То же нужно сказать о языке. Быть может, они даже следуют пушкинскому завету учиться языку у московской просвирни, но просвирня сама уже говорит не тем языком. Многие оттенки пушкинского словаря, такие многозначительные для нас, — для них не более как архаизмы. Иные слова, с которыми связана драгоценнейшая традиция и которые вводишь в свой стих с опаской, не зная, имеешь ли внутреннее право на них, — такой особый, сакраментальный смысл имеют они для нас, — оказываются попросту бледными перед судом молодого стихотворца, и не подозревающего, что еще значат для нас эти слова сверх того, что значат они для всех по словарю Даля. Порой целые ряды заветнейших мыслей и чувств оказываются неизъяснимыми иначе, как в пределах пушкинского словаря и синтаксиса, — и вот это заветнейшее оказывается всего только «стилизацией»!

Нельзя не указать тут же и на воскресшее в последнее время отсечение формы от содержания и проповедь главенства формы, подобно тому как в пору первого затмения проповедовалось главенство содержания. И то и другое одинаково враждебно всему духу пушкинской поэзии. Те, кто утверждает, что Пушкин велик виртуозностью своей формы, содержание же его — вещь второстепенная, потому что вообще содержание в поэзии не имеет значения, — суть писаревцы наизнанку. Сами того не зная, они действуют как клеветники и тайные враги Пушкина, выступающие под личиной друзей.

Говоря все это, я имею в виду вовсе не футуристов, а представителей гораздо более «умеренных» литературных групп. Можно бы рассказать великое множество прискорбных курьезов, доказывающих, что прямое, элементарное непонимание и незнание Пушкина есть явление, равно распространенное в молодой литературной среде, как и в среде читательской. Все это — следствие нарастающего невнимания к Пушкину; возникает оно из того, что эпоха Пушкина — уже не наша эпоха,

а писателем древности он еще не сделался, так что научное изучение Пушкина, какие бы огромные шаги оно ни сделало, составляет еще достояние немногих. Важность и ценность такого изучения еще не понятны ни массовому читателю, ни массовому писателю. И вот наивный юноша наших дней, равно читатель или молодой стихотворец, полагает, что Пушкин «попросту устарел».

То обстоятельство, что холодность к Пушкину вырабатывается не в колбах литературной лаборатории, что она обща и писателю, и читателю, — показывает, что она питается ежедневно возникающими условиями действительности. Как и во дни Писарева, охлаждение к Пушкину, забвение Пушкина и нечувствительность к нему опираются на читательскую массу, то есть проистекают из причин, в литературно-общественном смысле органических. Причины эти не те, что были во дни Писарева, отстранение от Пушкина теперь по-другому мотивируется, но оно может оказаться более прочным, распространиться шире и держаться дольше, потому что подготовлено историческими событиями огромного значения и размаха.

Немало доброго принесла революция. Но все мы знаем, что вместе с войной принесла она небывалое ожесточение и огрубение во всех без исключения слоях русского народа. Целый ряд иных обстоятельств ведет к тому, что как бы ни напрягали мы силы для сохранения культуры — ей предстоит полоса временного упадка и помрачения. С нею вместе омрачен будет и образ Пушкина.

Но я был бы неоткровенен, если б, заговорив об этом, высказался не до конца. Может случиться так, что общие сумерки культуры нашей рассеются, но их частность, то, что назвал я затмением Пушкина, затянется дольше — и не пройдет бесследно. Исторический разрыв с предыдущей, пушкинской эпохой навсегда отодвинет Пушкина в глубину истории. Та близость к Пушкину, в которой выросли мы, уже не повторится никогда...

Пушкин не дорожил народной любовью, потому что не верил в нее. В лучшем случае надеялся он быть любезным народу

«долго» — отнюдь не «вечно»: «И *долго* буду тем народу я любезен...» Охлаждение представлялось ему неизбежным и внешне выражающимся двояко: или толпа плюет на алтарь поэта, то есть его оскорбляет и ненавидит, — или колеблет треножник его «в детской резвости». По отношению к самому Пушкину первая формула уже невозможна: «толпа» никогда не плюнет на алтарь, где горит огонь его; но следующий стих: «И в детской резвости колеблет твой треножник» — сбудется полностью. Мы уже наблюдаем наступление второго затмения. Но будут и еще. Треножник не упадет вовеки, но будет периодически колебаться под напором толпы, резвой и ничего не жалеющей, как история, как время — это «дитя играющее», которому никто не сумеет сказать: «Остановись! Не шали!»

Время гонит толпу людей, спешащих выбраться на подмостки истории, чтобы сыграть свою роль — и уступить место другим, уже напирющим сзади. Шумя и теснясь, толпа колеблет треножник поэта. Наше самое драгоценное достояние, нашу любовь к Пушкину, как горсть благовонной травы, мы бросаем в огонь треножника. И она сгорит.

О, никогда не порвется кровная, неизбывная связь русской культуры с Пушкиным. Только она получит новый оттенок. Как мы, так и наши потомки не перестанут ходить по земле, унаследованной от Пушкина, потому что с нее нам уйти некуда. Но она еще много раз будет размежевана и перепахана по-иному. И самое имя того, кто дал эту землю и полил ее своей кровью, порой будет забываться.

Отодвинутый в «дым столетий», Пушкин восстанет там гигантским образом. Национальная гордость им выльется в несокрушимые, медные формы, — но той непосредственной близости, той задушевной нежности, с какою любили Пушкина мы, — грядущие поколения знать не будут. Этого счастья им не будет дано. Лицо Пушкина они уже не увидят таким, каким мы его видели. Это таинственное лицо, лицо полубога, будет меняться, как порою кажется, будто меняется бронзовое лицо статуи. И кто знает, что прочитают на нем грядущие люди, какие открытия они сделают в мире, создан-

ном Пушкиным? Быть может, они разгадают то, чего мы не разгадали. Но многое из того, что видели и любили мы, они уже не увидят.

То, о чем я говорил, должно ощущаться многими как жгучая тоска, как нечто жуткое, от чего, может быть, хочется спрятаться. Может быть, и мне больно, и мне тоже хочется спрятаться, — но что делать? История вообще неудобна. «И от судеб защиты нет».

Тот приподнятый интерес к поэту, который многими ощущался в последние годы, возникал, может быть, из предчувствия, из настоятельной потребности: отчасти — разобраться в Пушкине, пока не поздно, пока не совсем утрачена связь с его временем, отчасти — страстным желанием еще раз ощутить его близость, потому что мы переживаем последние часы этой близости перед разлукой. И наше желание сделать день смерти Пушкина днем всенародного празднования отчасти, мне думается, подсказано тем же предчувствием: это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке.

1921

Петербург



СТИХОТВОРЕНИЯ ЛИЦЕЙСКОГО
ПЕРИОДА (1813–1817)

1813

К НАТАЛЬЕ¹

Pourquoi craindrais-je de la dire?
C'est Margot qui fixe mon goût².

Так и мне узнать случилось,
Что за птица Купидон;
Сердце страстное пленилось;
Признаюсь — и я влюблен!
Пролетело счастья время,
Как, любви не зная бремя,
Я живал да попевал,
Как в театре и на балах,
На гуляньях иль в воксалах
Легким зефиром летал;
Как, смеясь во зло Амуру,
Я писал карикатуру
На любезный женский пол;

¹ Крепостная актриса домашнего театра гр. В.В. Толстого в Царском Селе.

² Почему мне бояться сказать это? Марго пленила мой вкус (*фр.*). — Из «Послания к Марго» Ш. де Лакло.

Но напрасно я смеялся,
Наконец и сам попался,
Сам, увы! с ума сошел.
Смехи, вольность — все под лавку,
Из Катонов я в отставку,
И теперь я — Селадон!
Миловидной жрицы Тальи
Видел прелести Натальи,
И уж в сердце — Купидон!

Так, Наталья! признаюся,
Я тобою полонен,
В первый раз еще, стыжуся,
В женски прелести влюблен.
Целый день, как ни верчуся,
Лишь тобою занят я;
Ночь придет — и лишь тебя
Вижу я в пустом мечтанье,
Вижу, в легком одеянье
Будто милая со мной;
Робко, сладостно дыханье,
Белой груди колебанье,
Снег затмившей белизной,
И полуотверсты очи,
Скромный мрак безмолвной ночи —
Дух в восторг приводят мой!..
Я один в беседке с нею,
Вижу... девственну лилею,
Трепещу, томлюсь, немею...
И проснулся... вижу мрак
Вкруг постели одинокой!
Ипускаю вздох глубокий.
Сон ленивый, томноокий
Отлетает на крылах.
Страсть сильнее становится,
И, любовью утомясь,
Я слабею всякий час.

Все к чему-то ум стремится...
 А к чему? — никто из нас
 Дамам вслух того не скажет,
 А уж так и сяк размажет.
 Я — по-свойски объяснюсь.

Все любовники желают
 И того, чего не знают;
 Это свойство их — дивлюсь!
 Завернувшись балахоном,
 С хватской шапкой набекрень
 Я желал бы Филимоном
 Под вечер, как всюду тень,
 Взяв Аниюты¹ нежну руку,
 Изъяснять любовну муку,
 Говорить: она моя!
 Я желал бы, чтоб Назорой
 Ты старалася меня
 Удержать умильным взором.
 Иль седым Опекуном
 Легкой, миленькой Розины²,
 Старым пасынком судьбины,
 В епанче и с париком,
 Дерзкой пламенной рукою
 Белоснежну, полную грудь...
 Я желал бы... да ногою
 Моря не перешагнуть,
 И, хоть по уши влюбленный,
 Но с тобою разлученный,
 Всей надежды я лишен.

Но, Наталья! ты не знаешь,
 Кто твой нежный Селадон,
 Ты еще не понимаешь,

¹ Персонажи оперы А. Аблесимова «Мельник — колдун, обманщик и сват».

² Персонажи комедии Бомарше «Севильский цирюльник».

Отчего не смеет он
И надеяться? — Наталья!
Выслушай еще меня:

Не владетель я Сераля,
Не арап, не турок я.
За учтвого китайца,
Грубого американца
Почитать меня нельзя,
Не представь и немчурою,
С колпаком на волосах,
С кружкой, пивом налитою,
И с сигаркою в зубах.
Не представь кавалергарда
В каске, с длинным палашом.
Не люблю я бранный гром:
Шпага, сабля, алебарда
Не тягчат моей руки
За Адамовы грехи.

— Кто же ты, болтун влюбленный? —
Взглянь на стены возвышенны,
Где безмолвья вечный мрак;
Взглянь на окна загражденны,
На лампы там зажженны...
Знай, Наталья! — я... монах!

МОНАХ

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Святой монах, грехопадение, юбка

Хочу воспеть, как дух нечистый Ада
Оседлан был брадатым стариком,
Как овладел он черным клобуком,
Как он втокнул Монаха грешных в стадо.

Певец любви, фернейский старичок,
 К тебе, Вольтер, я ныне обращаюсь.
 Куда, скажи, девался твой смычок,
 Которым я в Жан д'Арке восхищаюсь,
 Где кисть твоя, скажи, ужели ввек
 Их ни один не найдет человек?
 Вольтер! Султан французского Парнаса,
 Я не хочу седлать коня Пегаса,
 Я не хочу из муз наделать дам,
 Но дай лишь мне твою золотую лиру,
 Я буду с ней всему известен миру.
 Ты хмуришься и говоришь: не дам.
 А ты поэт, проклятый Аполлоном,
 Испачкавший простенки кабаков,
 Под Геликон упавший в грязь с Вильоном,
 Не можешь ли ты мне помочь, Барков?
 С усмешкою даешь ты мне скрипицу,
 Сулишь вино и музу пол-девицу:
 «Последуй лишь примеру моему». —
 Нет, нет, Барков! скрипицы не возьму,
 Я стану петь, что в голову придется,
 Пусть как-нибудь стих за стихом полетится.

Не в далеке от тех прекрасных мест,
 Где дерзостный восстал Иван-великий,
 На голове золотой носящий крест,
 В глуши лесов, в пустыне мрачной, дикой,
 Был монастырь; в глухих его стенах
 Под старость лет один седой Монах
 Святым житьем, молитвами спасался
 И дней к концу спокойно приближался.
 Наш труженик не слишком был богат,
 За пышность он не мог попасться в ад.
 Имел кота, имел псалтирь и четки,
 Клобук, стихарь да штоф зеленой водки.
 Взоспедши в дом, где мирно жил монах,
 Не золота увидели б вы горы,

Не мрамор там прельстил бы ваши взоры,
Там не висел Рафаэль на стенах.
Увидели б вы стул об трех ногах,
Да в уголку скамейка в пол-аршина,
На коей спал и завтракал монах.
Там пуховик над лавкой не вздувался.
Хотя монах, он в пухе не валялся
Меж двух простынь на мягких тюфяках.
Весь круглый год святой отец постился,
Весь божий день он в келье провождал,
«Помилуй мя» вполголоса читал,
Ел плотно, спал и всякий час молился.

А ты, Монах, мятежный езуит!
Красней теперь, коль ты краснеть умеешь,
Коль совести хоть капельку имеешь;
Красней и ты, богатый Кармелит,
И ты стыдись, Печерской Лавры житель,
Сердец и душ смиренный повелитель...
Но, лира! стой! – Далеко занесло
Уже меня противу рясок рвенье;
Бесить попов не наше ремесло.

Панкратий жил счастлив в уединенье,
Надеялся увидеть вскоре рай,
Но ни один земли безвестный край
Защитить нас от дьявола не может.
И в тех местах, где черный сатана
Под стражею от злости когти гложет,
Узнали вдруг, что разгорожена
К монастырям свободная дорога.
И вдруг толпой все черти поднялись,
По воздуху на крыльях понеслись –
Иной в Париж к плешивым Картезианцам
С копейками, с червонцами полез,
Тот в Ватикан к брюхатым итальянцам
Бургонского и макарони нес;

Тот девкою с прелатом повалился,
 Тот молодцом к монашенкам пустился.
 И слышал я, что будто старый поп,
 Одной ногой уже вступивший в гроб,
 Двух молодых венчал перед налоем.
 Черт прибежал амуров с целым роем,
 И вдруг дьячок на крылосе всхрапел,
 Поп замолчал – на девицу глядел,
 А девица на дьякона глядела.
 У жениха кровь сильно закипела.
 А бес всех их к себе же в ад повел.

Уж темна ночь на небеса всходила,
 Уж в городах утих вседневный шум,
 Луна в окно Монаха осветила.
 В молитвенник весь устремивший ум,
 Панкратий наш Николы пред иконой
 Со вздохами земные клал поклоны.
 Пришел Молок (так дьявола зовут),
 Панкратия под черной ряской скрылся.
 Святой Монах молился уж, молился,
 Вдыхал, вздыхал, а дьявол тут как тут.
 Бьет час, Молок не хочет отцепиться,
 Бьет два, бьет три – нечистый всё сидит.
 «Уж будешь мой», – он сам с собой ворчит.
 А наш старик уж перестал креститься,
 На лавку сел, потер глаза, зевнул,
 С молитвою три раза протянулся,
 Зевнул опять, и... чуть-чуть не заснул.
 Однако ж нет! Панкратий вдруг проснулся,
 И снова бес Монаха соблазнять,
 Чтоб усыпить, Боброва стал читать.
 Монах скучал, Монах тому дивился.
 Век не зевал, как богу он молился.
 Но – нет уж сил; кресты, псалтирь, слова –
 Всё позабыл; седая голова,
 Как яблоко, по груди покатилась,

Со лбу рука в колени опустилась,
Молитвенник упал из рук под стол,
Святой вздремал, всхрапел, как старый вол.

Несчастный! спи... Панкратий вдруг проснулся,
Взад и вперед со страхом оглянулся,
Перекрестясь с постели он встает,
Глядит вокруг – светильня нагорела;
Чуть слабый свет вокруг себя льет;
Что-то в углу как будто забелело.
Монах идет – что ж? юбку видит он.

«Что вижу я!.. иль это только сон? –
Вскричал Монах, остолбенев, бледнея. –
Как! это что?..» – и, продолжать не смея,
Как вкопанный, пред белой юбкой стал,
Молчал, краснел, смущался, трепетал.

Огню любви единственна преграда,
Любовника сладчайшая награда
И прелестей единственный покров,
О юбка! речь к тебе я обращаю,
Строки сии тебе я посвящаю,
Одушеви перо мое, любовь!

Люблю тебя, о юбка дорогая,
Когда, меня под вечер ожидая,
Наталья, сняв парчовый сарафан,
Тобою лишь окружит тонкий стан.
Что может быть тогда тебя милее?
И ты, виясь вокруг прекрасных ног,
Струи ручьев прозрачнее, светлее,
Касаешься тех мест, где юный бог
Покоится меж розой и лилеей.

Иль, как Филон, за Хлоей побежав,
Прижать ее в объятия стремится,
Зеленый куст тебя вдруг удержав...

Она должна, стыдясь, остановиться.
 Но поздно всё, Филон, ее догнав,
 С ней на траву душистую валится,
 И пламенна, дрожащая рука
 Счастливого любовью пастуха
 Тебя за край тихонько поднимает...
 Она ему взор томный ослабляет,
 И он... но нет; не смею продолжать.
 Я трепещу, и сердце сильно бьется,
 И, может быть, читатели, как знать?
 И ваша кровь с стремленьем страсти льется.
 Но наш Монах о юбке рассуждал
 Не так, как я (я молод, не пострижен
 И счастьем нимало не обижен).
 Он не был рад, что юбку увидал,
 И в тот же час смекнул и догадался,
 Что в когти он нечистого попался.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

*Горькие размышления,
 сон, спасительная мысль*

Покамест ночь еще не удалилась,
 Покамест свет лила еще луна,
 То юбка все еще была видна.
 Как скоро ж твердь зарею осветилась,
 От взоров вдруг сокрылась она.

А наш Монах, увы, лишен покоя.
 Уж он не спит, не гладит он кота,
 Не помнит он церковного наоя,
 Со всех сторон Панкратию беда.
 «Как, – мыслит он, – когда и собачонки,
 В монастыре и духа нет моем,
 Когда здесь ввек не видывал юбчонки,
 Кто мог ее принести ко мне же в дом?
 Уж мнится мне... прости, владыко, в том!

Уж нет ли здесь... страшусь сказать... девчонки». Монах краснел и делать что, не знал. Во всех углах, под лавками искал. Всё тщетно, нет, ни с чем старик остался, Зато весь день, как бледна тень, таскался, Не ел, не пил, покойно и не спал.

Проходит день, и вечер, наступая,
Зажег везде лампы и свечи.
Уже Монах, с главы клобук снимая,
Ложился спать. — Но только что лучи
Луна с небес в окно его пустила
И юбку вдруг на лавке осветила,
Зажмурился встревоженный Монах
И, чтоб не впасть кой-как во искушенье,
Хотел уже навек лишиться зренья,
Лишь только бы на юбку не смотреть.
Старик, кряхтя, на бок перевернулся
И в простыню тепленько завернулся,
Сомкнул глаза, заснул и стал храпеть.

Тот час Молок вдруг в муху превратился
И полетел жужжать вокруг него.
Летал, летал, по комнате кружился
И на нос сел Монаха моего.
Панкратья вновь он соблазнять пустился.
Монах храпит и чудный видит сон.

Казалось ему, что средь долины,
Между цветов, стоит под миртом он,
Вокруг него сатиров, фавнов сонм.
Иной смеясь льет в кубок пенны вины;
Зеленый плющ на черных волосах,
И виноград, на голове висящий,
И легкий фирз, у ног его лежащий, —
Все говорит, что вечно юный Вакх,
Веселья бог, сатира покровитель.

Другой, надув пастушечью свирель,
 Поет любовь, и сердца повелитель
 Одушевляя его веселу трель.
 Под липами там пляшут хороводом
 Толпы детей, и юношей, и дев.
 А далее, ветвей под темным сводом,
 В густой тени развесистых дерев,
 На ложе роз, любовью распаленны,
 Чуть-чуть дыша, весельем истощенны,
 Средь радостей и сладостных прохлад,
 Обнявшись любовники лежат.

Монах на всё взирал смятенным оком.
 То на стакан он взоры обращал,
 То на девиц глядел чернец со вздохом,
 Плешивый лоб с досадою чесал –
 Стоя, как пень, и рот в сажень разинув.
 И вдруг, в душе почувствовав кураж
 И набекрень, взъярясь, клобук надвинув,
 В зеленый лес, как белоусый паж,
 Как легкий конь, за девкою погнался.

Быстрее орла, быстрее звука лир
 Прелестница летела, как зефир.
 Но наш Монах Эол пред ней казался,
 Без отдыха за новой Дафной гнался.
 «Не дам, – ворчал, – я промаха в кольцо».
 Но леший вдруг, мелькнув из-за кусточка,
 Панкратья хватъ юбочкою в лицо.
 И вдруг исчез приятный вид лесочка.
 Ручья, холмов и нимф не видит он;
 Уж фавнов нет, вспорхнул и Купидон,
 И нет следа красоточки прелестной.
 Монах один в степи глухой, безвестной,
 Нахмуря взор: темнеет небосклон,
 Вдруг грянул гром, Монаха поражает –
 Панкратий: «Ах!..» – и вдруг проснулся он.

Смущенный взор он всюду обращает:
На небесах, как яхонты горя,
Уже восток румянила заря.
И юбки нет. – Панкратий встал, умылся,
И, помолясь, он плакать сильно стал,
Сел под окно и горько горевал.
«Ах! – думал он, – почто ты прогневился?
Чем виноват, владыко, пред тобой?
Как грешником, вертит нечистый мной.
Хочу не спать, хочу тебе молиться,
Возьму псалтирь, а тут и юбка вдруг.
Хочу вздремать и ночью сном забыться,
Что ж снится мне? смущается мой дух.
Услышь мое усердное моление,
Не дай мне впасть, господь, во искушение!»
Услышал бог молитвы старика,
И ум его в минуту просветился.
Из бедного седого простяка
Панкратий вдруг в Невтоны¹ претворился.
Обдумывал, смотрел, сличал, смекнул
И в радости свой опрокинул стул.
И, как мудрец, кем Сиракуз спасался²,
По улице бежавший бос и гол,
Открытием своим он восхищался
И громко всем кричал: «Нашел! нашел!»
«Ну! – думал он, – от бесов и юбочки
Избавлюсь я – и милые девчонки
Уже меня во сне не соблазнят.
Я заживу опять монах монахом,
Я стану ждать последний час со страхом
И с верою, и всё пойдет на лад». —
Так мыслил он – и очень ошибался.
Могущий Рок, вселенной Господин,
Панкратием, как куклой, забавлялся.

¹ То есть в Ньютоны.

² Архимед.

Монах водой наполнил свой кувшин,
 Забормотал над ним слова молитвы
 И был готов на грозны ада битвы.
 Ждет юбки он – с своей же стороны
 Нечистый дух весь день был на работе
 И весь в жару, в грязи, в пыли и поте,
 Предупредить спешил восход луны.

ПЕСНЬ ТРЕТЯЯ

Пойманный бес

Ах, отчего мне дивная природа
 Корреджио искусства не дала?
 Тогда б в число парнасского народа
 Лихая страсть меня не занесла.
 Чернилами я не марал бы пальцы,
 Не засорял бумагою чердак,
 И за бюро, как девица за пядьцы,
 Стихи писать не сел бы я никак.
 Я кисти б взял бестрепетной рукою
 И, выпив вмиг шампанского стакан,
 Трудиться б стал я жаркой головою,
 Как Цициан иль пламенный Албан.
 Представил бы все прелести Натальи,
 На полну грудь спустил бы прядь волос,
 Вкруг головы венки душистых роз,
 Вкруг милых ног одежду резвой Тальи,
 Стан обхватил Киприды б пояс злат.
 И кистью б был счастливей я стократ!

Иль краски б взял Вернета иль Пуссина;
 Волной реки струилась бы холстина;
 На небосклон палящих, южных стран
 Возведши ночь с задумчивой луною,
 Представил бы над серою скалою,
 Вкруг коей бьет шумящий океан,
 Высокие, покрыты мохом стены;

И там в волнах, где дышит ветерок,
На серебре, вокруг скал блестящей пены,
Зефирами колеблемый челнок.
Нарисовал бы в нем я Кантемиру,
Ее красы... и рад бы бросить лиру,
От чистых муз навеки удалясь,
Но Рубенсом на свет я не родился,
Не рисовать, я рифмы плесть пустился.
Мартынов¹ пусть пленяет кистью нас.
А я – я вновь взмогнул на Парнас.
Исполнившись геройскою отвагой,
Опять беру чернильницу с бумагой
И стану вновь я песни продолжать.

Что делает теперь седой Панкратий?
Что делает и враг его косматый?
Уж перестал Феб землю освещать;
Со всех сторон уж тени налетают;
Туман сокрыл вид рощиц и лесов;
Уж кое-где и звездочки блистают...
Уж и луна мелькнула сквозь лесов...
Ни жив, ни мертв сидит под образами
Чернец, молясь обеими руками.
И вдруг, бела, как вновь напавший снег
Москвы-реки на каменистый брег,
Как легка тень, в глазах явилась юбка...
Монах встает, как пламень покраснев,
Как модинки прелестной ала губка,
Схватил кувшин, весь гневом возгорев,
И всей водой он юбку обливает.
О чудо!.. вмиг сей призрак исчезает –
И вот пред ним с рогами и с хвостом,
Как серый волк, щетиной весь покрытый,
Как добрый конь с подкованным копытом,

¹ А.И. Мартынов – лицейский товарищ А.С. Пушкина.

Предстал Молок, дрожащий под столом,
 С главы до ног облитый весь водою,
 Закрыв себя подолом епанчи,
 Вращал глаза, как фонари в ночи.
 «Ура! – вскричал Монах с усмешкой злою, –
 Поймал тебя, подземный чародей.
 Ты мой теперь, не вырвешься, злодей.
 Все шалости заплатишь головою.
 Иди в бутылъ, закупорю тебя,
 Сейчас ее в колодезь брошу я.
 Ага, Мамон! дрожишь передо мною». –
 — «Ты победил, почтенный старичок, –
 Так отвечал смиренхонько Молок. –
 Ты победил, но будь великодушен,
 В гнилой воде меня не потопи.
 Я буду ввек за то тебе послушен,
 Спокойно ешь, спокойно ночью спи,
 Уж соблазнять тебя никак не стану». –
 – «Всё так, всё так, да полезай в бутылъ,
 Уж от тебя, мой друг, я не отстану,
 Ведь плутни все твои я не забыл». –
 – «Прости меня, доволен будешь мною.
 Богатства все польют к тебе рекою,
 Как Банкова, я в знать тебя пущу,
 Достану дом, куплю тебе кареты,
 Придут к тебе в переднюю поэты;
 Всех кланяться заставлю богачу,
 Сниму клобук, по моде причешу.
 Всё променяв на длинный фрак с штанами,
 Поскачешь ты гордиться жеребцами,
 Народ, смеясь, колесами давить
 И аглинской каретой всех дивить.
 Поедешь ты потеть у Шиловского,
 За ужином дремать у Горчакова,
 К Нарышкиной подправлять жилет.
 Потом всю знать (с министрами, с князьями

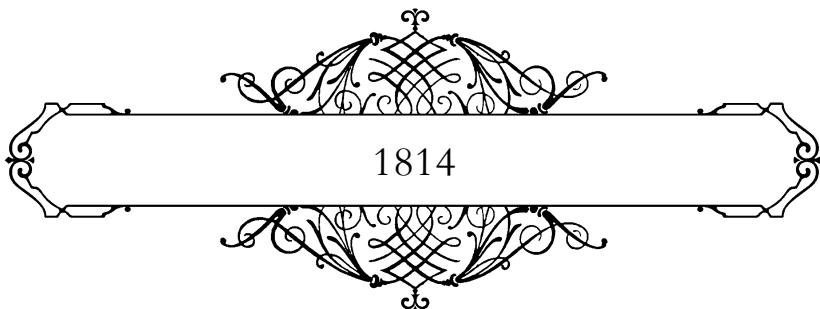
Ведь будешь жить, как с кровными друзьями)
Ты позовешь на пышный свой обед». — «Не соблазнишь! тебя я не оставлю,
Без дальних слов сейчас в бутылъ иди». — «Постой, постой, голубчик, погоди!
Я жен тебе и красных дев доставлю». — «Проклятый бес! как? и в моих руках
Осмелился ты думать о женах!
Смотри какой! но нет, работник ада,
Ты не прельстишь Панкратья суетой.
За всё, про всё готова уж награда,
Раскаешься, служитель беса злой!» — «Минуту дай с тобою изъясниться,
Оставь меня, не будь врагом моим.
Поступок сей наверно наградится,
А я тебя свезу в Иерусалим». При сих словах Монах себя не вспомнил.
«В Иерусалим!» — дивясь он бесу молвил.
— «В Иерусалим! — да, да, свезу тебя». — «Ну, если так, тебя избавлю я».

Старик, старик, не слушай ты Молока,
Оставь его, оставь Иерусалим.
Лишь ищет бес поддеть святого с бока,
Не связывай ты тесной дружбы с ним.
Но ты меня не слушаешь, Панкратий,
Берешь седло, берешь чепрак, узду.
Уж под тобой бодрится черт проклятый,
Готовится на адскую ездю.
Лети, старик, сев на плеча Молока,
Толкай его и в зад и под бока,
Лети, спеши в священный град востока,
Но помни то, что не на лошака
Ты возложил свои почтенны ноги.
Держись, держись всегда прямой дороги,
Ведь в мрачный ад дорога широка.

НЕСЧАСТИЕ КЛИТА¹

Внук Тредьяковского Клит гекзаметром песенки пишет,
Противу ямба, хоря злобой ужасною дышит;
Мера простая сия всё портит, по мнению Клита,
Смысл затмевает стихов и жар охлаждает пиита.
Спорить о том я не смею, пусть он безвинных поносит,
Ямб охладил рифмача, гекзаметры ж он заморозит.

¹ Эпиграмма на В.К. Кюхельбекера.



К ДРУГУ СТИХОТВОРЦУ

Арист! и ты в толпе служителей Парнаса!
Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса;
За лаврами спешишь опасною стезей
И с строгой критикой вступаешь смело в бой.

Арист, поверь ты мне, оставь перо, чернила,
Забудь ручьи, леса, унылые могилы,
В холодных песенках любовью не пылай;
Чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступай!
Довольно без тебя поэтов есть и будет;
Их напечатают — и целый свет забудет.
Быть может, и теперь, от шума удаляясь
И с глупой музою навек соединишься,
Под сенью мирною Минервиной эгиды¹
Сокрыт другой отец второй «Тилемахиды»².
Страшися участи бессмысленных певцов,
Нас убивающих громадою стихов!
Потомков поздних дань поэтам справедлива;

¹ Т. е. в школе. (*Примеч. А.С. Пушкина.*)

² Поэма В.К. Треднаковского.

На Пинде лавры есть, но есть там и крапива.
 Страшись бесславия! — Что, если Аполлон,
 Услышав, что и ты полез на Геликон,
 С презреньем покачав кудрявой головою,
 Твой гений наградит — спасительной лозою?

Но что? ты хмуришься и отвечать готов;
 «Пожалуй, — скажешь мне, — не трать излишних слов;
 Когда на что решусь, уж я не отступаю,
 И знай, мой жребий пал, я лиру избираю.
 Пусть судит обо мне как хочет целый свет,
 Сердись, кричи, бранись, — а я таки поэт».

Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет
 И, перьями скрывя, бумаги не жалеет.
 Хорошие стихи не так легко писать,
 Как Витгенштейну французов побеждать,
 Меж тем как Дмитриев, Державин, Ломоносов,
 Певцы бессмертные, и честь, и слава россов,
 Питают здравый ум и вместе учат нас,
 Сколь много гибнет книг, на свет едва родясь!
 Творенья громкие Рифматова, Графова
 С тяжелым Бибрусом¹ гниют у Глазунова;
 Никто не вспомнит их, не станет вздор читать,
 И Фебова на них проклятия печать.

Положим, что, на Пинд взобравшись счастливо,
 Поэтом можешь ты назваться справедливо:
 Все с удовольствием тогда тебя прочтут.
 Но мнишь ли, что к тебе рекой уже текут
 За то, что ты поэт, несметные богатства,
 Что ты уже берешь на откуп государства,
 В железных сундуках червонцы хоронишь
 И, лежа на боку, покойно ешь и спишь?

¹ Подразумеваются С.А. Ширинский-Шахматов, гр. Д.И. Хвостов и С.С. Бобров — бездарные писатели-графоманы, приверженцы «Беседы любителей русского слова».

Не так, любезный друг, писатели богаты;
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,
Ни чистым золотом набиты сундуки:
Лачужка под землей, высоки чердаки —
Вот пышны их дворцы, великолепны залы.
Поэтов — хвалят все, питают — лишь журналы;
Катится мимо их Фортуны колесо;
Родился наг и наг ступает в гроб Руссо¹;
Камозэнс с нищими постелю разделяет;
Костров на чердаке безвестно умирает,
Руками чуждыми могиле предан он:
Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава — сон.

Ты, кажется, теперь задумался немного.
«Да что же, — говоришь, — судя о всех так строго,
Перебирая всё, как новый Ювенал,
Ты о поэзии со мною толковал;
А сам, поссорившись с парнасскими сестрами,
Мне проповедовать пришел сюда стихами?
Что сделалось с тобой? В уме ли ты, иль нет?»
Арист, без дальних слов, вот мой тебе ответ:

В деревне, помнится, с мирянами простыми,
Священник пожилой и с кудрями седыми,
В миру с соседями, в чести, довольстве жил
И первым мудрецом у всех издавна слыл.
Однажды, осушив бутылки и стаканы,
Со свадьбы, под вечер, он шел немного пьяный;
Попалися ему навстречу мужики.
«Послушай, батюшка, — сказали простяки, —
Настави грешных нас — ты пить ведь запрещаешь,
Быть трезвым всякому всегда повелеваешь,
И верим мы тебе; да что ж сегодня сам...»
«Послушайте, — сказал священник мужикам, —
Как в церкви вас учу, так вы и поступайте,
Живите хорошо, а мне — не подражайте».

¹ Жан-Батист Руссо — французский лирик.

И мне то самое пришлось отвечать;
 Я не хочу себя нимало оправдать:
 Счастлив, кто, ко стихам не чувствуя охоты,
 Проводит тихий век без горя, без заботы,
 Своими одами журналы не тягчит
 И над экспромтами недели не сидит!
 Не любит он гулять по высотам Парнаса,
 Не ищет чистых муз, ни пылкого Пегаса;
 Его с пером в руке Рамаков¹ не страшит;
 Спокоен, весел он. Арист, он — не шит.

Но полно рассуждать — боюсь тебе наскучить
 И сатирическим пером тебя замучить.
 Теперь, любезный друг, я дал тебе совет,
 Оставишь ли свирель, умолкнешь или нет?..
 Подумай обо всем и выбери любое:
 Быть славным — хорошо, спокойным — лучше вдвое.

КОЛЬНА

(Подражание Оссиану)

(Фингал послал Тоскара воздвигнуть на берегах источника Кроны памятник победы, одержанной им некогда на сем месте. Между тем как он занимался сим трудом, Карул, соседственный государь, пригласил его к пиршеству; Тоскар влюбился в дочь его Кольну; нечаянный случай открыл взаимные их чувства и осчастливил Тоскара.)

Источник быстрый Каломоны,
 Бегущий к дальным берегам,
 Я зрю, твои взмущенны волны
 Потокот мутным по скалам
 При блеске звезд ночных сверкают
 Сквозь дремлющий, пустынный лес,
 Шумят и корни орошают

¹ Имеется в виду П.И. Макаров — критик, последователь Н.М. Карамзина.

Сплетенных в темный кров древес.
Твой мшистый брег любила Кольна,
Когда по небу тень лилась;
Ты зрел, когда, в любви невольна,
Здесь другу Кольна отдалась.

В чертогах Сельмы царь могучих
Тоскару юному вещал:
«Гряди во мрак лесов дремучих,
Где Крона катит черный вал,
Шумящей прохлажден осиною.
Там ряд является могил;
Там с верной, храброю дружиной
Полки врагов я расточил,
И много, много сильных пало;
Их гробы черный вран стережет.
Гряди – и там, где их не стало,
Воздвигни памятник побед!»
Он рек, и в путь безвестный дальний
Пустился с бардами Тоскар,
Идет во мгле ночи печальной,
В вечерний хлад, в полдневный жар.
Денница красная выводит
Златое утро в небеса,
И вот уже Тоскар подходит
К местам, где в темные леса
Бежит седой источник Кроны
И кроется в долины сонны.
Воспели барды гимн святой;
Тоскар обломок гор кремнистых
Усильно мощною рукой
Влечет из бездны волн сребристых
И с шумом на высокий брег
В густой и дикий злак поверг;
На нем повесил черны латы,
Покрытый кровью предков меч,
И круглый щит, и шлем пернатый,
И обратил он к камню речь:

«Вещай, сын шумного потока,
 О храбрых поздним временам!
 Да в страшный час, как ночь глубока
 В тумане ляжет по лесам,
 Пришлец, дорогой утомленный,
 Возлегли под надежный кров,
 Воспомнит веки отдаленны
 В мечтанье сладком легких снов!
 С рассветом алая денницы,
 Лучами солнца пробужден,
 Он узрит мрачные гробницы...
 И, грозным видом поражен,
 Вопросит сын иноплеменный:
 «Кто памятник воздвиг надменный?»
 И старец, летами согбен,
 Речет: «Тоскар наш незабвенный,
 Герой умчавшихся времен!»

Небес сокрылся вечный житель,
 Заря потухла в небесах;
 Луна в воздушную обитель
 Спешит на темных облаках;
 Уж ночь на холме – берег Кроны
 С окрестной рощею заснул:
 Владыка сильный Каломоны,
 Иноплеменных друг, Карул
 Призвал Морвенского героя
 В жилище Кольны молодой
 Вкусить приятности покоя
 И пить из чаши круговой.

.....

.....

Близ пепелища все воссели;
 Веселья барды песнь воспели;
 И в пене кубок золотой
 Кругом несется чередой.
 Печален лишь пришелец Лоры,

Главу ко груди преклонил;
Задумчиво он страстны взоры
На нежну Кольну устремил –
И тяжело грудь его вздыхает,
В очах веселья блеск потух,
То огонь по членам пробегает,
То негою томится дух;
Тоскует, втайне ощущая
Волненье сильное в крови,
На юны прелести взирая,
Он полную чашу пьет любви.

Но вот уж дуб престал дымиться,
И тень мрачнее становится,
Чернеет тусклый небосклон,
И царствует в чертогах сон.

.....
.....

Редает ночь – заря багряна
Лучами солнца возжена;
Пред ней златится твердь румяна:
Тоскар покинул ложе сна;
Быстротекущей Каломоны
Идет по влажным берегам,
Спешит узреть долины Кроны
И внемлет плещущим волнам.
И вдруг из сени темной рощи,
Как в час весенней полунощи
Из облак месяц золотой,
Выходит ратник молодой.
Меч острый на бедре сияет,
Копье десницу вооружает;
Надвинут на чело шелом,
И гибкий стан покрыт щитом;
Зарею латы серебруются
Сквозь утренний в долине пар.

«О юный ратник! – рек Тоскар, –
 С каким врагом тебе сражаться?
 Ужель и в сей стране война
 Багрит ручьев струисты волны?
 Но всё спокойно – тишина
 Окрест жилища нежной Кольны».

«Спокойны дебри Каломоны,
 Цветет отчизны край златой;
 Но Кольна там не обитает,
 И ныне по стезе глухой
 Пустыню с милым протекает,
 Пленившим сердце красотой».

«Что рек ты мне, молодой воитель?
 Куда сокрылся похититель?
 Подай мне щит твой!» И Тоскар
 Приемлет щит, пылая мщеньем.
 Но вдруг исчез геройства жар;
 Что зрит он с сладким восхищеньем?
 Не в силах в страсти воздохнуть,
 Пылая вдруг восторгом новым...
 Лилейна обнажилась грудь,
 Под грозным дышуща покровом...

«Ты ль это?..» – возопил герой,
 И трепетно рукой дрожащей
 С главы снимает шлем блестящий –
 И Кольну видит пред собой.

ЭВЛЕГА¹

Вдали ты зришь утес уединенный;
 Пещеры в нем изрылась глубина;
 Темнеет вход, кустами окруженный,
 Вблизи шумит и пенится волна.
 Вечор, когда туманилась луна,
 Здесь милого Эвлега призывала;

¹ Вольный перевод отрывка из поэмы Парни «Иснель и Аслега».

Здесь тихий глас горам передавала
Во тьме ночной печальна и одна:

«Приди, Одульф, уж роща побледнела.
На дикий мох Одульфа ждать я села,
Пылает грудь, за вздохом вздох летит...
О! сладко жить, мой друг, душа с душою.
Приди, Одульф, забудусь я с тобою,
И поцелуй любовью возгорит.

Беги, Осгар, твои мне страшны взоры,
Твой грозен вид и хладны разговоры.
Оставь меня, не мною торжествуй!
Уже другой в ночи со мною дремлет,
Уж на заре другой меня объемлет,
И сладостен его мне поцелуй.

Что ж медлит он свершить мои надежды?
Для милого я сбросила одежды!
Завистливый покров у ног лежит,
Но чу!.. идут — так! это друг надежный.
Уж начались восторги страсти нежной,
И поцелуй любовью возгорит».

Идет Одульф; во взорах — упоенье,
В груди — любовь, и прочь бежит печаль;
Но близ его во тьме сверкнула сталь,
И вздрогнул он — родилось подозренье:
«Кто ты? — спросил, — почто ты здесь? Вещай,
Ответствуй мне, о сын угрюмой ночи!»

«Бессильный враг! Осгара убегай!
В пустынной тьме что ищут робки очи?
Страшись меня, я страстью воспален:
В пещере здесь Эвлега ждет Осгара!»
Булатный меч в минуту обнажен,
Огонь летит струями от удара...

Услышала Эвлега стук мечей
 И бросила со страхом хлад пещерный.
 «Приди узреть предмет любви твоей! —
 Вскричал Одульф подружке нежной, верной. —
 Изменница! ты здесь его зовешь?
 Во тьме ночной вас услаждает нега,
 Но дерзкого в Валгалле ты найдешь!»

Он поднял меч... и с трепетом Эвлега
 Падет на дерн, как клок летучий снега,
 Метелицей отторженный со скал!
 Друг на друга соперники стремятся,
 Кровавый ток по камням побежал,
 В кустарники с отчаяньем катятся.
 Последний глас Эвлегу призывал,
 И смерти хлад их ярость оковал.

ОСГАР

По камням гробовым, в туманах полуночи,
 Ступая трепетно усталою ногой,
 По Лоре путник шел, напрасно томны очи
 Ночлега мирного искали в тьме густой.
 Пещеры нет пред ним, на берегу угрюмом
 Не видит хижины, наследья рыбаля;
 Вдали дремучий бор качают ветры
 с шумом,
 Луна за тучами, и в море спит заря.

Идет, и на скале, обросшей влажным мохом,
 Зрит барда старого — веселье прошлых лет:
 Склонясь седым челом над воющим потоком,
 В безмолвии времен он созерцал полет.
 Зубчатый меч висел на ветви мрачной ивы.
 Задумчивый певец взор тихий обратил
 На сына чуждых стран, и путник боязливый
 Содрогся в ужасе и мимо поспешил.

«Стой, путник! стой! — вещал певец веков
минувших, —
Здесь пали храбрые, почти их бранный прах!
Почти геройства чад, могилы сном уснувших!»
Пришлец главой поник — и, мнилось, на холмах
Восставший ряд теней главы окровавленны
С улыбкой гордою на странника склонял.
«Чей гроб я вижу там?» — вещал иноплеменный
И барду посохом на берег указал.

Колчан и шлем стальной, к утесу пригвожденный,
Бросали тусклый луч, луною озлатясь.
«Увы! здесь пал Осгар! — рек старец вдохновенный. —
О! рано юноше настал последний час!
Но он искал его: я зрел, как в ратном строе
Он первые стрелы с весельем ожидал
И рвался из рядов, и пал в кипящем бое.
Покойся, юноша! ты в брани славной пал,

Во цвете нежных лет любил Осгар Мальвину,
Не раз он в радости с подругою встречал
Вечерний свет луны, скользящий на долину,
И тень, упавшую с приморских грозных скал.
Казалось, их сердца друг к другу пламенили;
Одной, одной Осгар Мальвиною дышал;
Но быстро дни любви и счастья пролетели,
И вечер горести для юноши настал.

Однажды, в темну ночь зимы порой унылой,
Осгар стучится в дверь красавицы молодой
И шепчет: «Юный друг! не медли, здесь твой милый!»
Но тихо в хижине. Вновь робкою рукой
Стучит и слушает: лишь ветры с свистом веют.
«Ужели спишь теперь, Мальвина? — Мгла вокруг,
Валится снег, власы в тумане леденеют.
Услышь, услышь меня, Мальвина, милый друг!»

Он в третий раз стучит, со скрипом дверь шатнулась.
 Он входит с трепетом. Несчастный! что ж узрел?
 Темнеет взор его. Мальвина содрогнулась,
 Он зрит — в объятиях изменницы Звигнел!
 И ярость дикая во взорах закипела;
 Немеет и дрожит любовник молодой.
 Он грозный меч извлек, и нет уже Звигнела,
 И бледный дух его сокрылся в тьме ночной!

Мальвина обняла несчастного колена,
 Но взоры отвратив: «Живи! — вещал Осгар, —
 Живи, уж я не твой, презренна мной измена,
 Забуду, потушу к неверной страсти жар».
 И тихо за порог выходит он в молчанье,
 Окован мрачною, безмолвною тоской —
 Исчезло сладкое навек очарованье!
 Он в мире одинок, уж нет души родной.

Я видел юношу: поникнув головою,
 Мальвины имя он в отчаянье шептал;
 Как сумрак, дремлющий над бездною морскою,
 На сердце горестном унынья мрак лежал.
 На друга детских лет взглянул он торопливо;
 Уже недвижный взор друзей не узнавал;
 От пиршеств удален, в пустыне молчаливой
 Он одиночеством печаль свою питал.

И длинный год провел Осгар среди мучений.
 Вдруг грянул трубный глас! Оденов сын, Фингал,
 Вел грозных на мечи, в кровавый пыл сражений.
 Осгар слышал весть и бранью воспылал.
 Здесь меч его сверкнул, и смерть пред ним бежала;
 Покрытый ранами, здесь пал на груду тел.
 Он пал — еще рука меча кругом искала,
 И крепкий сон веков на сильного слетел.

К любезному в объятия упала...
 «Будь счастлива!» — Эрот ей прошептал,
 Рассудок что ж? Рассудок уж молчал.

К СЕСТРЕ

Ты хочешь, друг бесценный,
 Чтоб я, поэт молодой,
 Беседовал с тобой
 И с лирою забвенной,
 Мечтами окриленный,
 Оставил монастырь
 И край уединенный,
 Где непрерывный мир
 Во мраке опустился
 И в пустыни глухой
 Безмолвно воцарился
 С угрюмой тишиной.

 И быстрою стрелой
 На невский брег примчуся,
 С подругой обнимуся
 Весны моей златой,
 И, как певец Людмилы¹,
 Мечты невольник милый,
 Взошел под отчий кров,
 Несу тебе не злато
 (Чернец я небогатый),
 В подарок пук стихов.

Тайком взошел в диванну,
 Хоть помощью пера,
 О, как тебя застану,
 Любезная сестра?

¹ В.А. Жуковский.

Чем сердце занимаешь
Вечернею порой?
Жан-Жака¹ ли читаешь,
Жанлиса ль пред тобой?
Иль с резвым Гамильтоном
Смеешься всей душой?
Иль с Греем и Томсоном
Ты пренеслась мечтой
В поля, где от дубравы
В дол веет ветерок,
И шепчет лес кудрявый,
И мчится величавый
С вершины гор поток?
Иль моську престарелу,
В подушках поседу,
Окутав в длинну шаль
И с нежностью лелея,
Ты к ней зовешь Морфея?
Иль смотришь в темну даль
Задумчивой Светланой²
Над шумною Невой?
Иль звучным фортепяно
Под беглою рукой
Моцарта оживляешь?
Иль тоны повторяешь
Пиччини и Рамо?

Но вот уж я с тобою,
И в радости немой
Твой друг расцвел душою,
Как ясный вешний день.
Забыты дни разлуки,
Дни горести и скуки,
Исчезла грусти тень.

¹ Ж.-Ж. Руссо.

² Героиня одноименной баллады В.А. Жуковского.

Но это лишь мечтанье!
Увы, в монастыре,
При бледном свеч сиянье,
Один пишу к сестре.
Все тихо в мрачной келье:
Защелка на дверях,
Молчанье, враг веселий,
И скука на часах!
Стул ветхий, необитый,
И шаткая постель,
Сосуд, водой налитый,
Соломенна свирель —
Вот все, что пред собою
Я вижу, пробужден.
Фантазия, тобою
Одной я награжден,
Тобою пренесенный
К волшебной Иппокрене,
И в келье я блажен.

Что было бы со мною,
Богиня, без тебя?
Знакомый с суетою,
Приятной для меня,
Увлечен в даль судьбою,
Я вдруг в глухих стенах,
Как Леты на берегах,
Явился заключенным,
Навеки погребенным,
И скрыпнули врата,
Сомкнувшись за мною,
И мира красота
Оделась черной мглою!..
С тех пор гляжу на свет,
Как узник из темницы
На яркий блеск денницы.
Светило ль дня взойдет,

Луч кинув позлащенный
Сквозь узкое окно,
Но сердце помраченно
Не радуется оно.
Иль поздною порою,
Как луч на небесах,
Покрытых чернотою,
Темнеет в облаках, —
С унынием встречаю
Я сумрачную тень
И с вздохом провожаю
Скрывающийся день!..
Сквозь слез смотрю в решетки,
Перебирая четки.

Но время протечет,
И с каменных ворот
Падут, падут затворы,
И в пышный Петроград
Через долины, горы
Ретивые примчат;
Спеша на новоселье,
Оставляю темну келью,
Поля, сады свои;
Под стол клобук с веригой —
И прилечу расстригой
В объятия твои.

КРАСАВИЦЕ, КОТОРАЯ НЮХАЛА ТАБАК

Возможно ль? вместо роз, Амуром насажденных,
Тюльпанов, гордо наклоненных,
Душистых ландышей, ясинов и лилей,
Которых ты всегда любила
И прежде всякий день носила
На мраморной груди твоей, —
Возможно ль, милая Климена,

Какая странная во вкусе перемена!..
 Ты любишь обонять не утренний цветок,
 А вредную траву зелену,
 Искусством превращенну
 В пушистый порошок! —
 Пускай уже седой профессор Геттингена,
 На старой кафедре согнувшись дугой,
 Вперив в латинщину глубокий разум свой,
 Раскашлявшись, табак толченый
 Пихает в длинный нос иссохшею рукой;
 Пускай молодой драгун усатый
 Поутру, сидя у окна,
 С остатком утреннего сна,
 Из трубки пенковой дым гонит сероватый;
 Пускай красавица шестидесяти лет,
 У граций в отпуску и у любви в отставке,
 Которой держится вся прелесть на подставке,
 Которой без морщин на теле места нет,
 Злословит, молится, зевает
 И с верным табаком печали забывает, —
 А ты, прелестная!.. но если уж табак
 Так нравится тебе — о пыл воображенья! —
 Ах! если, превращенный в прах,
 И в табакерке, в заточенье,
 Я в персты нежные твои попасться мог,
 Тогда б в сердечном восхищеньи
 Рассыпался на грудь под шелковый платок
 И даже... может быть... Но что! мечта пустая.
 Не будет этого никак.
 Судьба завистливая, злая!
 Ах, отчего я не табак!..

ЭПИГРАММА

Арист нам обещал трагедию такую,
 Что все от жалости в театре заревут,
 Что слезы зрителей рекою потекут.

Мы ждали драму золотую.
И что же? дождались — и, нечего сказать,
Достоинству ее нельзя убавить весу,
Ну, право, удалось Аристу написать
Прежалкую пиесу.

КОЗАК

Раз, полунощной порою,
Сквозь туман и мрак,
Ехал тихо над рекою
Удалой козак.

Черна шапка набекрени,
Весь жупан в пыли.
Пистолеты при колене,
Сабля до земли.

Верный конь, узды не чуя,
Шагом выступал;
Гриву долгую волнуя,
Углублялся вдаль.

Вот пред ним две-три избушки,
Выломан забор;
Здесь — дорога к деревушке,
Там — в дремучий бор.

«Не найду в лесу девицы, —
Думал хват Денис, —
Уж красавицы в светлицы
На ночь убрались».

Шевельнул донец уздою,
Шпорой прикольнул,
И помчался конь стрелою,
К избам завернул.

В облаках луна серебрила
 Дальни небеса;
 Под окном сидит уныла
 Деввица-краса.

Храбрый видит красну деву;
 Сердце бьется в нем,
 Конь тихонько к леву, к леву –
 Вот уж под окном.

«Ночь становится темнее,
 Скрылася луна.
 Выдь, коханочка, скорее,
 Напой коня».

«Нет! к мужчине молодому
 Страшно подойти,
 Страшно выдти мне из дому
 Коню дать воды».

«Ах! небось, деввица красна,
 С милым подружись!»
 «Ночь красавицам опасна».
 «Радость! не страшись!»

Верь, коханочка, пустое;
 Ложный страх отбрось!
 Тратишь время золотое;
 Милая, небось!

Сядь на борзого, с тобою
 В дальний еду край;
 Будешь счастлива со мною:
 С другом всюду рай».

Что же деввица? Склонилась,
 Победила страх,
 Робко ехать согласилась.
 Счастлив стал козак.

Поскакали, полетели.
Дружку друг любил;
Был ей верен две недели,
В третью изменил.

КНЯЗЮ А.М. ГОРЧАКОВУ¹

Пускай, не знаясь с Аполлоном,
Поэт, придворный философ,
Вельможе знатному с поклоном
Подносит оду в двести строф;
Но я, любезный Горчаков,
Не просыпаюсь с петухами,
И напыщенными стихами,
Набором громозвучных слов,
Я петь пустого не умею
Высоко, тонко и хитро
И в лиру превращать не смею
Мое — гусиное перо!
Нет, нет, любезный князь, не оду
Тебе намерен посвятить;
Что прибыли соваться в воду,
Сначала не спросившись броду,
И вслед Державину парить?
Пишу своим я складом ныне
Кой-как стихи на именины.

Что должен я, скажи, в сей час
Желать от чиста сердца другу?
Глубоку ль старость, милый князь,
Детей, любезную супругу,
Или богатства, громких дней,
Крестов, алмазных звезд, честей?
Не пожелать ли, чтобы славой
Ты увлечен был в путь кровавый,

¹ Лицейский товарищ А.С. Пушкина.

Чтоб в лаврах и венцах сиял,
 Чтоб в битвах гром из рук метал
 И чтоб победа за тобою,
 Как древле Невскому герою¹,
 Всегда, везде летела вслед?
 Не сладострастия поэт
 Такою песенкой поздравит,
 Он лучше муз навек оставит!
 Дай бог любви, чтоб ты свой век
 Питомцем нежным Эпикура
 Провел меж Вакха и Амура!
 А там — когда Стигийский брег
 Мелькнет в туманном отдаленье,
 Дай бог, чтоб в страстном упоенье,
 Ты с томной сладостью в очах
 Из рук младого Купидона
 Вступая в мрачный чёлн Харона,
 Уснул... Ершовой на грудях!

ОПЫТНОСТЬ

Кто с минуту переможет
 Хладным разумом любовь,
 Бремя тягостных оков
 Ей на крылья не возложит,
 Пусть не смейся, не резвись,
 С строгой мудростью дружись;
 Но с рассудком вновь заспоришь,
 Хоть не рад, но дверь отворишь,
 Как проказливый Эрот
 Постучится у ворот.

Испытал я сам собою
 Истину сих правых слов.
 «Добрый путь! прости, любовь!
 За богинею слепою,

¹ Александр Невский.

Не за Хлоей, полечу,
Счастье, счастье ухвачу!» —
Мнил я в гордости безумной.
Вдруг услышал хохот шумный,
Оглянулся... и Эрот
Постучался у ворот.

Нет! мне, видно, не придется
С богом сим в размовке жить,
И покамест жизни нить
Старой Паркой *там* прядется,
Пусть владеет мною он!
Веселиться — мой закон.
Смерть откроет гроб ужасный,
Потемнеют взоры ясны.
И не стукнется Эрот
У могильных уж ворот!

БЛАЖЕНСТВО

В роще сумрачной, тенистой,
Где, журча в траве душистой,
Светлый бродит ручеек,
Ночью на простой свирели
Пел влюбленный пастушок;
Томный гул унылы трели
Повторял в глуши долин...

Вдруг из глубины пещеры
Чтитель Вакха и Венеры,
Резвых фавнов господин,
Выбежал Эрмиев сын.
Розами рога обвиты,
Плющ на черных волосах,
Козий мех, вином налитый,
У Сатира на плечах.
Бог лесов, в дугу склонившись

Над искривленной клюкой,
 За кустами притаившись,
 Слушал песенки ночной,
 В лад качая головой.

«Дни, протекшие в веселье!
 (Пел в тоске пастух молодой)
 Отчего, явясь мечтой,
 Вы, как тень, от глаз исчезли
 И покрылись вечной тьмой?»

Ах! когда во мраке ночи,
 При таинственной луне,
 В темну сень прохладной рощи,
 Сладко спящей в тишине,
 Медленно, рука с рукою,
 С нежной Хлоей приходил,
 Кто сравниться мог со мною?
 Хлое был тогда я мил!

А теперь мне жизнь — могила,
 Белый свет душе постыл,
 Грустен лес, поток уныл...
 Хлоя — другу изменила!..
 Я для милой... уж не мил!..»

Звук исчез свирели тихой;
 Смолк певец — и тишина
 Воцарилась в роще дикой;
 Слышно, плещет лишь волна,
 И колышет повиликой
 Тихо веющий зефир...
 Древ оставя сень густую,
 Вдруг является Сатир.
 Чашу дружбы круговую
 Пенистым сребря вином,

Рек с ослабленным лицом:
«Ты уныл, ты сердцем мрачен;
Посмотри ж, как сок прозрачен
Блещет, осветясь луной!
Выпей чашу — и душой
Будешь так же чист и ясен.
Верь мне: стон в бедах напрасен.
Лучше, лучше веселись,
В горе с Бахусом дружись!»
И пастух, взяв чашу в руки,
Скоро выпил все до дна.
О, могущество вина!
Вдруг сокрылись скорби, муки,
Мрак душевный вмиг исчез!
Лишь фиал к устам поднес,
Все мгновенно изменилось,
Вся природа оживилась,
Счастлив юноша в мечтах!
Выпив чашу золотую,
Наливает он другую;
Пьет уж третью... но в глазах
Вид окрестный потемнелся —
И несчастный... утомился.
Томну голову склоня,
«Научи, Сатир, меня, —
Говорит пастух со вздохом, —
Как могу бороться с роком?
Как могу счастливым быть?
Я не в силах вечно пить».
— «Слушай, юноша любезный,
Вот тебе совет полезный:
Миг блаженства век лови;
Помни дружбы наставленья:
Без вина здесь нет веселья,
Нет и счастья без любви;
Так поди ж теперь с похмелья

С Купидоном помирись;
 Позабудь его обиды
 И в объятиях Дориды
 Снова счастьем насладись!»

ЛАИСА ВЕНЕРЕ, ПОСВЯЩАЯ ЕЙ СВОЕ ЗЕРКАЛО

Бог зеркало мое – прими его, Киприда!
 Богиня красоты прекрасна будет век,
 Седого времени не страшна ей обида:
 Она – не смертный человек;
 Но я, покорствуя судьбине,
 Не в силах зреть себя в прозрачности стекла,
 Ни той, которой я была,
 Ни той, которой ныне.

ПИРУЮЩИЕ СТУДЕНТЫ

Друзья, досужный час настал;
 Все тихо, все в покое;
 Скорее скатерть и бокал!
 Сюда, вино златое!
 Шипи, шампанское, в стекле.
 Друзья, почто же с Кантом
 Сенека, Тацит на столе,
 Фольянт над фолиантом?
 Под стол холодных мудрецов,
 Мы полем овладеем;
 Под стол ученых дураков!
 Без них мы пить умеем.

Ужели трезвого найдем
 За скатертью студента?
 На всякий случай изберем
 Скорее президента.
 В награду пьяным — он нальет
 И пунш и грог душистый,

А вам, спартанцы, поднесет
Воды в стакане чистой!
Апостол неги и прохлада,
Мой добрый Галич¹, vale!²
Ты Эпикуров младший брат,
Душа твоя в бокале.
Главу венками убери,
Будь нашим президентом,
И станут самые цари
Завидовать студентам.

Дай руку, Дельвиг! что ты спишь?
Проснись, ленивец сонный!
Ты не под кафедрой сидишь,
Латынью усыпленный.
Взгляни: здесь круг твоих друзей;
Бутыль вином налита,
За здравье нашей музыки пей,
Парнасский волокита.
Остряк любезный, по рукам!
Полней бокал досуга!
И вылей сотню эпиграмм
На недруга и друга.

А ты, красавец молодой,
Сиятельный повеса!³
Ты будешь Вакха жрец лихой,
На прочее — завеса!
Хотя студент, хотя я пьян,
Но скромность почитаю;
Придвинь же пенистый стакан,
На брань благословляю.

¹ Профессор российской и латинской словесности, преподававший в Лицее в 1814—1815 гг.

² Будь здоров! (*лат.*)

³ Кн. А.М. Горчаков.

Товарищ милый, друг прямой¹,
 Тряхнем рукою руку,
 Оставим в чаше круговой
 Педантам сродну скуку:
 Не в первый раз мы вместе пьем,
 Нередко и бранимся,
 Но чашу дружества нальем —
 И тотчас помиримся.

А ты, который с детских лет
 Одним весельем дышишь,
 Забавный, право, ты поэт,
 Хоть плохо басни пишешь;
 С тобой тасуюсь без чинов,
 Люблю тебя душою,
 Наполни кружку до краев, —
 Рассудок, бог с тобою!

А ты, повеса из повес²,
 На шалости рожденный,
 Удалый хват, головорез,
 Приятель задушевный,
 Бутылки, рюмки разобьем
 За здравие Платова,
 В казачью шапку пунш нальем —
 И пить давайте снова!..

Приблизься, милый наш певец³,
 Любимый Аполлоном!
 Воспой властителя сердец
 Гитары тихим звоном.
 Как сладостно в стесненну грудь
 Томленье звуков льется!..

¹ И.И. Пуццин — лицейский товарищ А.С. Пушкина.

² И.В. Малиновский — лицейский товарищ А.С. Пушкина.

³ Н.А. Корсаков — лицейский товарищ А.С. Пушкина.

Но мне ли страстью вздохнуть?
Нет! пьяный лишь смеется!

Не лучше ль, Роде записной¹,
В честь Вакховой станицы
Теперь скрипеть тебе струной
Расстроенной скрипицы?
Запойте хором, господа,
Нет нужды, что нескладно;
Охрипли? — это не беда:
Для пьяных всё ведь ладно!

Но что?.. я вижу всё вдвоем;
Двоится штоф с араком;
Вся комната пошла кругом;
Покрылись очи мраком...
Где вы, товарищи? где я?
Скажите, Вакха ради...
Вы дремлете, мои друзья,
Склонившись на тетради...
Писатель за свои грехи!
Ты с виду всех трезвее;
Вильгельм², прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.

БОВА

(Отрывок из поэмы)

Часто, часто я беседовал
С болтуном страны Эллинския³
И не смел осиплым голосом
С Шапеленом и с Рифматовым

¹ М.А. Яковлев — лицейский товарищ А.С. Пушкина, хорошо игравший на скрипке (Роде — известный в то время скрипач).

² В.К. Кюхельбекер.

³ Гомер.

Воспевать героев севера.
 Несравненного Виргилия
 Я читал и перечитывал,
 Не стараясь подражать ему
 В нежных чувствах и гармонии.
 Разбирал я немца Клопштока
 И не мог понять премудрого!
 Не хотел я воспевать, как он;
 Я хочу, чтоб меня поняли
 Все от мала до великого.
 За Мильтоном и Камознсом
 Опасался я без крил парить:
 Не дерзал в стихах бессмысленных
 Херувимов жарить пушками,
 С сатаною обитать в раю,
 Иль святую богородицу
 Вместе славить с Афродитою.
 Не бывал я греховодником!
 Но вчера, в архивах роаяся,
 Отыскал я книжку славную,
 Золотую, незабвенную,
 Катехизис остроумия,
 Словом: Жанну Орлеанскую.
 Прочитал, — и в восхищении
 Про Бову пою царевича.

О Вольтер! о муж единственный!
 Ты, которого во Франции
 Почитали богом неким,
 В Риме дьяволом, антихристом,
 Обезьяною в Саксонии!
 Ты, который на Радищева
 Кинул было взор с улыбкою,
 Будь теперь моею музою!
 Петь я тоже вознамерился,
 Но сравниюсь ли с Радищевым?

Не запомню, сколько лет спустя
После рождества Спасителя,
Царь Дадон со славой царствовал
В Светомире, сильном городе.
Царь Дадон венец со скипетром
Не прямой достал дорогою,
Но убив царя законного,
Бендокира *Слабоумного*.
(Так, бывало, верноподданны
Величали королей своих,
Если короли беспечные
Не в постеле и не ночью
Почивали с камергерами).
Царь Дадон не Слабоумного
Был достоин злого прозвища,
Но тирана неусыпного,
Хотя, впрочем, не имел его.
Лень мне все его достоинства
И пороки вам показывать:
Вы слышали, люди добрые,
О царе, что двадцать целых лет
Не снимал с себя оружия,
Не слезал с коня ретивого,
Всюду пролетал с победою,
Мир крещеный потопил в крови,
Не щадил и некрещеного,
И, в ничтожество низверженный
Александром, грозным ангелом,
Жизнь проводит в унижении
И, забытый всеми, кличется
Ныне Эльбы императором:
Вот таков-то был и царь Дадон.

Раз, собрав бородачей совет
(Безбородых не любил Дадон),
На престоле пригорюнившись,

Произнес он им такую речь:
 «Вы, которые советами
 Облегчили тяжесть скипетра,
 Уладили участь царскую
 (Не горька она была ему),
 Мудрые друзья, сподвижники!
 К вам прибегнуть я решаюся:
 Что мне делать ныне? — Слушайте».

Все привстали, важно хмуряся,
 Низко, низко поклонилися
 И, подправляя ус и бороду,
 Сели на скамьи дубовые.

«Вам известно, — продолжал Дадон, —
 Что искусством и неправдою
 Я достиг престола шаткого
 Бендокира Слабоумного,
 Сочетался с Милитрисою,
 Милой женкой Бендокировой,
 И в темницу посадил Бову,
 Принца крови, сына царского.
 Легче, легче захватить было
 Слабоумного златой венец,
 Чем, надев венец на голову,
 За собою удержать его.
 Вот уже народ бессмысленный,
 Ходя в праздники по улицам,
 Меж собой не раз говаривал:
Дай бог помочь королевичу.
 Ведь Бова уже не маленький,
 Не в отца своей головушкой,
 Нужды нет, что за решеткою,
 Он опасен моим замыслам.
 Что мне делать с ним? скажите мне,
 Не оставить ли в тюрьме его?»

Все собранье призадумалось,
Все в молчанье потушили взор.
То-то, право, золотой совет!
Не болтали здесь, а думали:
Арзамор, муж старый, опытный,
Рот открыл было (советовать,
Знать, хотелось поседелому),
Громко крикнул, но одумался
И в молчанье закусил язык,
Ко лбу перст приставя тщательно.
Лекарь славный, Эскулапа внук,
Эзельдорф, обритый шваб, зевал,
Табакеркою поскрыпывал,
Но молчал, — своей премудрости
Он пред всеми не показывал.
Вихромах, Полкан с Дубынею,
Стража трона, славны рыцари,
Все сидели будто вкопаны.
Громобурь, известный силою,
Но умом непроницательный,
Думал, думал и нечаянно
Задремал... и захрапел в углу.
Что примера лучше действует?
Что людьми сильнее ворочает?
Вот зевнули под перчаткою
Храбрый Мирозор с Ивашкою,
И Полкан, и Арзамор седой...
И ко груди преклонились
Тихо головами буйными...
Глядь, с Дадоном задремал совет...
Захрапели многомыслящи!

Долго спать было советникам,
Если б немцу не пришлось из рук
Табакерку на пол выронить.
Табакерка покатилася
И о шпору вдруг ударилася

Громобуря, крепко спавшего,
 Загремела, раздвоилась,
 Отлетела в разны стороны...
 Храбрый воин пробуждается,
 Озирает все собрание...
 Между тем табак рассыпался,
 К носу рыцаря подьмется,
 И чихнул герой с досадою,
 Так что своды потрясаются,
 Окна все дрожат и сыплются,
 И на петлях двери хлопают...
 Пробуждается собрание!

«Что тут думать, — закричал герой: —
 Царь! Бова тебе не надобен,
 Ну, и к черту королевича!
 Решено: ему в живых не быть.
 После, братцы, вы рассудите,
 Как с ним надобно разделаться».
 Тем и кончил: храбры воины
 Речи любят лаконически.
 «Ладно! мы тебя послушаем, —
 Царь промолвил, потянувшись, —
 Завтра, други, мы увидимся,
 А теперь ступайте все домой».

Оплошал Дадон отсрочкою.
 Не твердил он верно в азбуке:
*Не откладывай до завтраго,
 Что сегодня можешь выполнить.*
 Разошлись все придворные.
 Ночь меж тем уже сгущалася,
 Царь Дадон в постелю царскую
 Вместе с милой лег супругою,
 С несравненной Милитрисою,
 Но спиной оборотился к ней:
 В эту ночь его величеству
 Не играть, а спать хотелось.

Милитрисина служаночка,
Зоя, молодая девица,
Ангел станом, взором, личиком,
Белой ручкой, нежной ножкою,
С госпожи сняв платье шелково,
Юбку, чепчик, ленты, кружева,
Всё под ключ в комод спрятала
И пошла тихонько в девичью.
Там она сама разделася,
Подняла с трудом окошечко
И легла в постель пуховую,
Ожидая друга милого,
Светозара, пажа царского:
К темной ночи обещался он
Из окна прыгнуть к ней в комнату.
Ждет, пождет девица красная;
Нет как нет всё друга милого.
Чу! бьет полночь — что же Зоинька?
Видит — входят к ней в окошечко...
Кто же? друг ли сердца нежного?
Нет! совсем не то, читатели!
Видит тень иль призрак старого
Венценосца, с длинной шапкою,
В балахоне вместо мантии,
Опоясанный мочалкою,
Вид невинный, взор навывкате,
Рот разинут, зубы скалятся,
Уши длинные, ослиные
Над плечами громко хлопают;
Зоя видит и со трепетом
Узнает она, читатели,
Бендокира Слабоумного.

Трепетна, смятенья полная,
Стала на колени Зоинька,
Съединила ручку с ручкою,
Потушила очи ясные,

Прочитала скорым шепотом
 То, что век не мог я выучить:
Отче наш и *Богородице*,
 И тихохонько промолвила:
 «Что я вижу? Боже! Господи...
 О Никола! Савва мученик!
 Осените беззащитную.
 Ты ли это, царь наш батюшка?
 Отчего, скажи, оставил ты
 Ныне царствие небесное?»

Глупым смехом осветившись,
 Тень рекла прекрасной Зоиньке:
 «Зоя, Зоя, не страшись, мой свет.
 Не пугать тебя мне хочется,
 Не на то сюда явился я
 С того света привидением.
 Весело пугать живых людей,
 Но могу ли веселиться я,
 Если сына Бендокирова,
 Милого Бову царевича,
 На костре изжарят завтра же?»

Бедный царь заплакал жалобно.
 Больно стало доброй девушке.
 «Чем могу, скажи, помочь тебе,
 Я во всем тебе покорствую».
 — «Вот что хочется мне, Зоинька!
 Из темницы сына выручи,
 И сама в жилище мрачное
 Сядь на место королевича,
 Пострадай ты за невинного.
 Поклонюсь тебе низехонько
 И скажу: *спасибо, Зоинька!*»

Зоинька тут призадумалась:
 За *спасибо* в темну яму сесть!
 Это жестко ей казалось.

Но, имея чувства нежные,
Зоя втайне согласилась
На такое предложение.

Так, ты прав, оракул Франции,
Говоря, что жены, слабые
Против стрел Эрота юного,
Все имеют душу добрую,
Сердце нежно непритворное.
«Но скажи, о царь возлюбленный! —
Зоя молвила покойнику, —
Как могу (ну, посуди ты сам)
Пронестись в темницу мрачную,
Где горюет твой любезный сын?
Пятьдесят отборных воинов
Днем и ночью стерегут его.
Мне ли, слабой робкой женщине,
Обмануть их очи зоркие?»
«Будь покойна, случай найдется,
Поклянись лишь только, милая,
Не отвергнуть сего случая,
Если сам тебе представится».
«Я клянусь!» — сказала девица.
Вмиг исчезло привидение,
Из окошка быстро вылетев.
Воздыхая тихо, Зоинька
Опустила тут окошечко
И, в постели успокоившись,
Скоро, скоро сном забылася.

К БАТЮШКОВУ

Философ резвый и шит,
Парнасский счастливый ленивец,
Харит изнеженный любимец,
Наперсник милых аонид!
Почто на арфе златострунной

Умолкнул, радости певец?
 Ужель и ты, мечтатель юный,
 Расстался с Фебом наконец?

Уже с венком из роз душистых,
 Меж кудрей вьющихся, златых,
 Под тенью тополов ветвистых,
 В кругу красавиц молодых,
 Заздравным не стучишь фиалом,
 Любовь и Вакха не поешь;
 Довольный счастливым началом,
 Цветов парнасских вновь не рвешь;
 Не слышен наш Парни российский!
 Пой, юноша! — певец тиисский¹
 В тебя влиял свой нежный дух.
 С тобою твой прелестный друг,
 Лилета, красных дней отрада:
 Певцу любви любовь награда.
 Настрой же лиру, по струнам
 Летай игривыми перстами,
 Как вешний зефир по цветам,
 И сладострастными стихами,
 И тихим шепотом любви
 Лилету в свой шалаш зови.
 И звезд ночных при бледном свете,
 Плывущих в дальней вышине,
 В уединенном кабинете
 Волшебной внемя тишине,
 Слезами счастья грудь прекрасной,
 Счастливец милый, орошай;
 Но, упоен любовью страстной,
 И нежных муз не забывай;
 Любви нет боле счастья в мире:
 Люби — и пой ее на лире.

¹ Анакреон.

Когда ж к тебе в досужный час
Друзья, знакомые сберутся,
И вина пенные польются,
От плена с треском свободясь,
Описывай в стихах игривых
Веселье, шум гостей болтливых
Вокруг накрытого стола,
Стакан, кипящий пеной белой,
И стук блестящего стекла.
И гости дружно стих веселый,
Бокал в бокал ударя в лад,
Нестройным хором повторяют.

Поэт! в твоей предметы воле!
Во звучны струны смело грянь,
С Жуковским пой кроваву брань
И грозну смерть на ратном поле.
И ты в строях ее встречал,
И ты, постигнутый судьбою,
Как росс, питомцем славы пал!
Ты пал и хладною косою
Едва скошенный не увял!..¹

Иль, вдохновенный Ювеналом,
Вооружись сатиры жалом,
Подчас прими ее свисток,
Рази, осмеивай порок,
Шутя, показывай смешное
И, если можно, нас исправь,
Но Тредьяковского оставь
В столь часто рушимом покое;
Увы! довольно без него
Найдем бессмысленных поэтов,
Довольно в мире есть предметов,
Пера достойных твоего!

¹ Кому неизвестны «Воспоминания на 1807 год»? (Примеч. А.С. Пушкина.)

Но что!.. цевницею моею,
 Безвестный в мире сем поэт,
 Я песни продолжать не смею.
 Прости — но помни мой совет:
 Доколе, музами любимый,
 Ты пиэрид горишь огнем,
 Доколь, сражен стрелой незримой,
 В подземный ты не снидешь дом,
 Мирские забывай печали,
 Играй: тебя младой Назон¹,
 Эрот и грации венчали,
 А лиру строил Аполлон.

ЭПИГРАММА

(Подражание французскому)

Супругою твоей я так пленился.
 Что если б три в удел достались мне,
 Подобные во всем твоей жене,
 То даром двух я б отдал сатане,
 Чтоб третью лишь принять он согласился.

К Н.Г. ЛОМОНОСОВУ²

И ты, любезный друг, оставил
 Надежну пристань тишины,
 Челнок свой весело направил
 По влаге бурной глубины;
 Судьба на руль уже склонилась,
 Спокойно светят небеса,
 Ладья крылатая пустилась —
 Расправит *счастье* паруса.
 Дай бог, чтоб грозной непогоды

¹ Публий Овидий Назон.

² Брат лицейского товарища А.С. Пушкина.

Вблизи ты ужас не видал,
Чтоб бурный вихорь не вздувал
Пред челноком шумящи воды!
Дай бог под вечер к берегам
Тебе пристать благополучно
И отдохнуть спокойно там
С любовью, дружбой неразлучно!
Нет! ты не можешь их забыть!
Но что! Не скоро, может быть,
Увижусь я, мой друг, с тобою
Укромной хаты в тишине;
За чашей пунша круговую
Подчас вспомнишь обо мне;
Когда ж пойду на новоселье
(Заснуть ведь общий всем удел),
Скажи: «Дай бог ему веселье!
Он в жизни хоть любить умел».

НА РЫБУШКИНА¹

Бывало, прежних лет герой,
Окончив славу брань с противной стороной,
Повесит меч войны средь отческия кущи;
А трагик наш Бурун, скончав чернильный бой,
Повесил уши.

ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Навис покров угрюмой ночи
На своде дремляющих небес;
В безмолвной тишине почили дол и рощи,
В седом тумане дальний лес;

¹ Эпиграмма на М.С. Рыбушкина, автора трагедии «Иоанн, или Взятие Казани».

Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,
 Чуть дышит ветерок, уснувший на листьях,
 И тихая луна, как лебедь величавый,
 Плышет в серебристых облаках.

С холмов кремнистых водопады
 Стекают бисерной рекой,
 Там в тихом озере плескаются наяды
 Его ленивою волной;
 А там в безмолвии огромные чертоги,
 На своды опершись, несутся к облакам.
 Не здесь ли мирны дни вели земные боги?
 Не се ль Минервы русской¹ храм?

Не се ль Элизум полнощный,
 Прекрасный Царскосельский сад,
 Где льва² сразив, почил орел России мощный
 На лоне мира и отрад?
 Промчались навсегда те времена златые,
 Когда под скипетром великия жены
 Венчалась славою счастливая Россия,
 Цветя под кровом тишины!

Здесь каждый шаг в душе рождает
 Воспоминанья прежних лет;
 Возрев вокруг себя, со вздохом росс вещает:
 «Исчезло все, великой нет!»
 И, в думу углублен, над злачными берегами
 Сидит в безмолвии, склоня ветрам слух.
 Протекшие лета мелькают пред очами,
 И в тихом восхищенье дух.

Он видит: окружен волнами,
 Над твердой, мшистою скалой
 Вознесся памятник. Ширияся крылами,

¹ Екатерина II.

² Герб Швеции.

Над ним сидит орел молодой.
И цепи тяжкие и стрелы громовые
Вкруг грозного столпа трикратно обвились;
Кругом подножия, шумя, валы седые
В блестящей пене улеглись.

В тени густой угрюмых сосен
Воздвигся памятник простой.
О, сколь он для тебя, кагульский брег, поносен!
И славен родине драгой!
Бессмертны вы вовек, о росски исполины,
В боях воспитанны средь бранных непогод!
О вас, сподвижники, друзья Екатерины,
Пройдет молва из рода в род.

О, громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похищали;
Их смелым подвигам страшась дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.

И ты промчался, незабвенный!
И вскоре новый век узрел
И брани новые, и ужасы военны;
Страдать — есть смертного удел.
Блеснул кровавый меч в неукротимой длани
Коварством, дерзостью венчанного царя;
Восстал вселенной бич — и вскоре новой брани
Зарделась грозная заря.

И быстрым понеслись потоком
Враги на русские поля.
Пред ними мрачна степь лежит во сне глубоком,

Дымится кровию земля;
 И села мирные, и грады в мгле пылают,
 И небо заревом оделося вокруг,
 Леса дремучие бегущих укрывают,
 И праздный в поле ржавит плуг.

Идут — их силе нет препоны,
 Всё рушат, всё свергают в прах,
 И тени бледные погибших чад Беллоны,
 В воздушных съединясь полках,
 В могилу мрачную нисходят непрестанно
 Иль бродят по лесам в безмолвии ночи..
 Но клики раздались!.. идут в дали туманной! —
 Звучат кольчуги и мечи!..

Страшись, о рать иноплеменных!
 России двинулись сыны;
 Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,
 Сердца их мщеньем зажжены.
 Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
 Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
 Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
 За Русь, за святость алтаря.

Ретивы кони бранью пышут,
 Усеян ратниками дол,
 За строем строй течет, все мезтью, славой дышат,
 Восторг во грудь их перешел.
 Летят на грозный пир; мечам добычи ищут,
 И се — пылает брань; на холмах гром гремит,
 В сгущенном воздухе с мечами стрелы свищут,
 И брызжет кровь на щит.

Сразились. Русский — победитель!
 И вспять бежит надменный галл;
 Но сильного в боях небесный вседержитель
 Лучом последним увенчал,

Не здесь его сразил воитель поседелый¹;
О бородинские кровавые поля!
Не вы неистовству и гордости пределы!
Увы! на башнях галл Кремля!..

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горести и бед,
И вы их видели, врагов моей отчизны!
И вас багрила кровь и пламень пожирал!
И в жертву не принес я мщенья вам и жизни;
Вотще лишь гневом дух пылал!..

Где ты, краса Москвы стоглавой,
Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся величавый,
Развалины теперь одни;
Москва, сколь русскому твой зрак унылый страшен!
Исчезли здания вельможей и царей,
Все пламень истребил. Венцы затмились башен,
Чертоги пали богачей.

И там, где роскошь обитала
В сенистых рощах и садах,
Где мирт благоухал и липа трепетала,
Там ныне угли, пепел, прах.
В часы безмолвные прекрасной, летней ночи
Веселье шумное туда не полетит,
Не блещут уж в огнях берега и светлы рощи:
Все мертво, все молчит.

Утешься, мать градов России,
Воззри на гибель пришлеца.
Отяготела днесь на их надменны выи

¹ М.И. Кутузов.

Десница мстящая творца.
 Взгляни: они бегут, озреться не дерзают,
 Их кровь не престаёт в снегах реками течь;
 Бегут — и в тьме ночной их глад и смерть сретают,
 А с тыла гонит русский меч.

О вы, которых трепетали
 Европы сильны племена,
 О галлы хищные! и вы в могилы пали.
 О страх! о грозны времена!
 Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны,
 Презревший правды глас, и веру, и закон,
 В гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны?
 Исчез, как утром страшный сон!

В Париже росс! — где факел мщенья?
 Поникни, Галлия, главой.
 Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья
 Грядет с оливою златой.
 Еще военный гром грохочет в отдаленье,
 Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,
 А он — несет врагу не гибель, но спасенье
 И благотворный мир земле.

О скальд России вдохновенный¹,
 Воспевший ратных грозный строй,
 В кругу товарищей, с душой воспламененной,
 Греми на арфе золотой!
 Да снова стройный глас героям в честь прольется,
 И струны гордые посылают огонь в сердца,
 И ратник молодой вскипит и содрогнется
 При звуках бранного певца.

¹ В.А. Жуковский.

РОМАНС

Под вечер, осенью ненастной,
В далеких дева шла местах
И тайный плод любви несчастной
Держала в трепетных руках.
Все было тихо — лес и горы,
Все спало в сумраке ночном;
Она внимательные взоры
Водила с ужасом кругом.

И на невинном сем творенье,
Вздохнув, остановила их...
«Ты спишь, дитя, мое мученье,
Не знаешь горестей моих,
Откроешь очи и тоскуя
Ко груди не прильнешь моей.
Не встретишь завтра поцелуя
Несчастной матери твоей.

Ее манить напрасно будешь!..
Стыд вечный мне вина моя, —
Меня навеки ты забудешь;
Тебя не позабуду я;
Дадут покров тебе чужие
И скажут: «Ты для нас чужой!» —
Ты спросишь: «Где ж мои родные?»
И не найдешь семьи родной.

Мой ангел будет грустной думой
Томиться меж других детей
И до конца с душой угрюмой
Взирать на ласки матерей;
Повсюду странник одинокий,
Предел неправедный кляня,
Услышит он упрек жестокий...
Прости, прости тогда меня.

Быть может, сирота унылый,
Узнаешь, обоймешь отца.
Увы! где он, предатель милый,
Мой незабвенный до конца?
Утешь тогда страдальца муки,
Скажи: «Ее на свете нет —
Лаура не снесла разлуки
И бросила пустынный свет».

Но что сказала я?.. быть может,
Виновную ты встретишь мать,
Твой скорбный взор меня встревожит!
Возможно ль сына не узнать?
Ах, если б рок неумолимый
Моею тронулся мольбой...
Но, может быть, пройдешь ты мимо,
Навек рассталась я с тобой.

Ты спишь — позволь себя, несчастный,
К груди прижать в последний раз.
Закон несправедный, ужасный
К страданью присуждает нас.
Пока лета не отогнали
Беспечной радости твоей, —
Спи, милый! горькие печали
Не тронут детства тихих дней!»

Но вдруг за рощей осветила
Вблизи ей хижину луна...
С волненьем сына ухватила
И к ней приблизилась она;
Склонилась, тихо положила
Младенца на порог чужой,
Со страхом очи отвратила
И скрылась в темноте ночной.

ЛЕДА
(Кантата)

Средь темной рощицы, под тенью лип душистых,
В высоком тростнике, где частым жемчугом
 Вздывалась пена вод серебристых,
 Колелясь тихим ветерком,
 Покров красавицы стыдливой,
Небрежно кинутый, у берега лежал,
И прелести ее поток волной игривой
 С весельем орошал.

Житель рощи торопливый,
Будь же скромн, о ручей!
Тише, струйки говорливы!
Изменить страшитесь ей!

Леда робостью трепещет,
Тихо дышит снежна грудь,
Ни волна вокруг не плещет,
Ни зефир не смеет дуть.

В роще шорох утихает,
Всё в прелестной тишине;
Нимфа далее ступает,
Робкой вверившись волне.

Но что-то меж кустов прибрежных восшумело,
И чувство робости прекрасной овладело;
Невольно вздрогнула, не в силах воздохнуть.
И вот пернатых царь из-под склоненной ивы,
 Расправя крылья горделивы,
К красавице плывет — веселья полна грудь;
С шумящей пеною отважно волны гонит,
 Крылами воздух бьет,
 То в кольца шею вьет,
То гордую главу, смирясь, пред Ледой клонит.

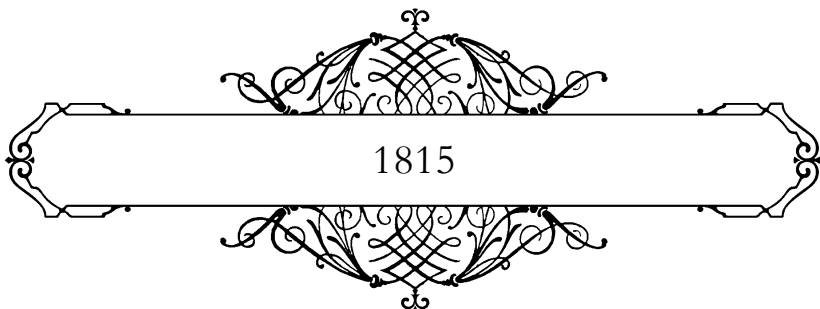
Леда смеется.
 Вдруг раздается
 Радости клик.
 Вид сладострастный!
 К Леде прекрасной
 Лебедь приник.
 Слышно стенанье,
 Снова молчанье.
 Нимфа лесов
 С негою сладкой
 Видит украдкой
 Тайну богов.

Опомнясь наконец, красавица молодая
 Открыла тихий взор, в томленьях воздыхая,
 И что ж увидела? — На ложе из цветов
 Она покоится в объятиях Зевеса;
 Меж ними юная любовь, —
 И пала таинства прелестного завеса.

Сим примером научитесь,
 Розы, девы красоты;
 Летним вечером страшитесь
 В темной рощице воды:

В темной рощице таится
 Часто пламенный Эрот;
 С холодной струйкою катится,
 Стрелы прячет в пене вод.

Сим примером научитесь,
 Розы, девы красоты;
 Летним вечером страшитесь
 В темной рощице воды.



ГОРОДОК

(К ***)

Прости мне, милый друг,
Двухлетнее молчанье:
Писать тебе посланье
Мне было недосуг.
На тройке пронесенный
Из родины смиренной
В великий град Петра,
От утра до утра
Два года все кружился
Без дела в хлопотах,
Зевая, веселился
В театре, на пирах;
Не ведал я покоя,
Увы! ни на часок,
Как будто у налоя
В великий четверток
Измученный дьячок.
Но слава, слава богу!

На ровную дорогу
Я выехал теперь;
Уж вытолкал за дверь
Заботы и печали,
Которые играли,
Стыжусь, столь долго мной,
И в тишине святой
Философом ленивым,
От шума вдалеке,
Живу я в городке,
Безвестностью счастливым.
Я нанял светлый дом
С диваном, с камельком;
Три комнатки простые –
В них злата, бронзы нет,
И ткани вышисные
Не кроют их паркет.
Окошки в сад веселый,
Где липы престарелы
С черемухой цветут;
Где мне в часы полдневны
Березок своды темны
Прохладну сень дают;
Где ландыш белоснежный
Сплелся с фиалкой нежной
И быстрый ручеек,
В струях неся цветок,
Невидимый для взора,
Лепечет у забора.
Здесь добрый твой поэт
Живет благополучно;
Не ходит в модный свет;
На улице карет
Не слышит стук докучный;
Здесь грома вовсе нет;
Лишь изредка телега

Скрыпит по мостовой,
Иль путник, в домик мой
Пришед искать ночлега.
Дорожною клюкой
В калитку постучится...

Блажен, кто веселится
В покое, без забот,
С кем втайне Феб дружится
И маленький Эрот;
Блажен, кто на просторе
В укромном уголке
Не думает о горе,
Гуляет в колпаке,
Пьет, ест, когда захочет,
О госте не хлопочет!
Никто, никто ему
Лениться одному
В постеле не мешает;
Захочет – аонид
Толпу к себе сзывает;
Захочет – сладко спит,
На *Рифмова* склоняясь
И тихо забываясь.
Так я, мой милый друг,
Теперь расположился;
С толпой бесстыдных слуг
Навеки распростился;
Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю
И часто целый свет
С восторгом забываю.
Друзья мне – мертвецы,
Парнасские жрецы;
Над полкою простою
Под тонкою тафтою

Со мной они живут.
Певцы красноречивы,
Прозаики шутливы
В порядке стали тут.
Сын Мома и Минервы,
Фернейский злой крикун¹,
Поэт в поэтах первый,
Ты здесь, седой шалун!
Он Фебом был воспитан,
Из детства стал пиит;
Всех больше перечитан,
Всех менее томит;
Соперник Эврипида,
Эраты нежной друг,
Арьоста, Тасса внук –
Скажу ль?.. отец Кандида –
Он всё; везде велик
Единственный старик!
На полке за Вольтером
Виргилий, Тасс с Гомером
Все вместе предстоят.
В час утренний досуга
Я часто друг от друга
Люблю их отрывать.
Питомцы юных граций –
С Державиным потом
Чувствительный Гораций
Является вдвоем.
И ты, певец любезный,
Поэзией прелестной
Сердца привлекий в плен,
Ты здесь, лентяй беспечный,
Мудрец простосердечный,
Ванюша Лафонтен!

¹ Вольтер.

Ты здесь – и Дмитров нежный,
Твой вымысел любя,
Нашел приют надежный
С Крыловым близ тебя.
Но вот наперсник милый
Психеи златокрылой!¹
О добрый Лафонтен,
С тобой он смел сразиться...
Коль можешь ты дивиться,
Дивись: ты побежден!
Воспитанны Амуром,
Вержье, Парни с Грекуром
Укрылись в уголок.
(Не раз они выходят
И сон от глаз отводят
Под зимний вечерок.)
Здесь Озеров с Расином,
Руссо и Карамзин,
С Мольером-исполином
Фонвизин и Княжнин.
За ними, хмурясь важно,
Их грозный Аристарх²
Является отважно
В шестнадцати томах.
Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видеть вкус,
Но часто, признаюсь,
Над ним я время трачу.

Кладбище обрели
На самой нижней полке
Все школьнически толки,
Лежащие в пыли,
Визгова сочиненья,

¹ И.Ф. Богданович.

² Имеется в виду Ж.-Ф. Лагарп.

Глупона псалмопенья,
 Известные творенья
 Увы! одним мышам.
 Мир вечный и забвенью
 И прозе и стихам!
 Но ими огражденну
 (Ты должен это знать)
 Я спрягал потаенну
 Сафьянную тетрадь.
 Сей свиток драгоценный,
 Веками сбереженный,
 От члена русских сил,
 Двоюродного брата,
 Драгунского солдата
 Я даром получил.
 Ты, кажется, в сомненье...
 Нетрудно отгадать;
 Так, это сочиненья,
 Презревшие печать.
Хвала вам, чада славы,
 Враги парнасских уз!
 О князь, наперсник муз¹,
 Люблю твои забавы;
 Люблю твой колкий стих
 В посланиях твоих,
 В сатире – знанье света
 И слога чистоту
 И в резвости куплета
 Игриву остроту.
 И ты, насмешник смелый,
 В ней место получил,
 Чей в аде свист веселый
 Поэтов раздражил,
 Как в юношески леты

¹ Кн. Д.П. Горчаков – автор популярных в то время рукописных сатирических посланий и нозелей.

В волнах туманной Леты
Их гуртом потопил;
И ты, замысловатый
Буянова певец¹,
В картинах толь богатый
И вкуса образец;
И ты, шутник бесценный²,
Который Мельпомены
Котурны и кинжал
Игривой Талье дал!
Чья кисть мне нарисует,
Чья кисть скompанирует
Такой оригинал!
Тут вижу я – с Чернавкой
Подщипа слезы льет;
Здесь князь дрожит под лавкой,
Там дремлет весь совет;
В трагическом смятенъе
Плененные цари,
Забыв войну, сраженья,
Играют в кубари...
Но назову ль детину,
Что доброю порой
Тетради половину
Наполнил лишь собой!
О ты, высот Парнаса
Боярин небольшой³,
Но пылкого Пегаса
Наездник удалой!
Намаранные оды,
Убранство чердаков,
Гласят из рода в роды:
Велик, велик – Свистов!

¹ В.Л. Пушкин – дядя А.С. Пушкина, автор поэмы «Опасный сосед».

² И.А. Крылов.

³ И.С. Барков – автор порнографических стихотворений.

Твой дар ценить умею,
Хоть право не знаток;
Но здесь тебе не смею
Хвалы сплетать венки:
Свистовским должно слогом
Свистова воспевать;
Но убирайся с богом,
Как ты, в том клясться рад,
Не стану я писать.

О вы, в моей пустыне
Любимые творцы!
Займите же отныне
Беспечности часы.
Мой друг! весь день я с ними,
То в думу углублен,
То мыслями своими
В Элизий пренесен.
Когда же на закате
Последний луч зари
Потонет в ярком злате,
И светлые цари
Смеркающейся ночи
Плывут по небесам,
И тихо дремлют рощи,
И шорох по лесам,
Мой гений невидимкой
Летает надо мной;
И я в тиши ночной
Сливаю голос свой
С пастушьею волынкой.
Ах! счастлив, счастлив тот,
Кто лиру в дар от Феба
Во цвете дней возьмет!
Как смелый житель неба,
Он к солнцу воспарит,

Превыше смертных станет,
И слава громко грянет:
«Бессмертен век пиит!»

Но ею мне ль гордиться,
Но мне ль бессмертьем льститься?..
До слез я спорить рад,
Не бьюсь лишь об заклад,
Как знать, и мне, быть может,
Печать свою наложит
Небесный Аполлон;
Сияя горним светом,
Бестрепетным полетом
Взлечу на Геликон.
Не весь я предан тленью;
С моей, быть может, тенью
Полунощной порой
Сын Феба молодой,
Мой правнук просвещенный,
Беседовать придет
И мною вдохновенный
На лире вздохнет.

Покамест, друг бесценный,
Камином освещенный,
Сижусь я под окном
С бумагой и с пером,
Не слава предо мною,
Но дружбою одною
Я ныне вдохновен.
Мой друг, я счастлив ею.
Почто ж ее сестрой,
Любовию младой
Напрасно пламенею?
Иль юности златой
Вотще даны мне розы,

И лить навеки слезы
В юдоли, где расцвел
Мой горестный удел?..
Певца сопутник милый,
Мечтанье легкокрыло!
О, будь же ты со мной,
Дай руку сладострастью
И с чашей круговой
Веди меня ко счастью
Забвения тропой;
И в час безмолвной ночи,
Когда ленивый мак
Покроет томны очи,
На ветреных крылах
Примчись в мой домик тесный,
Тихонько постучись
И в тишине прелестной
С любимцем обнимись!
Мечта! в волшебной сени
Мне милую яви,
Мой свет, мой добрый гений,
Предмет моей любви,
И блеск очей небесный,
Лиющих огонь в сердца,
И граций стан прелестный,
И снег ее лица;
Представь, что, на коленях
Покоюсь у меня,
В порывистых томленьях
Склонилась она
Ко груди грудью страстной,
Устами на устах,
Горит лицо прекрасной,
И слезы на глазах!..
Почто стрелой незримой
Уже летишь ты вдаль?

Обманет – и пропал
Беглец невозвратимый!
Не слышит плач и стон,
И где крылатый сон?
Исчезнет обольститель,
И в сердце грусть-мучитель.

Но все ли, милый друг,
Быть счастья в упоенье?
И в грусти томный дух
Находит наслажденье:
Люблю я в летний день
Бродить один с тоскою,
Встречать вечерню тень
Над тихою рекою
И с сладостной слезою
В даль сумрачну смотреть;
Люблю с моим Мароном¹
Под ясным небосклоном
Близ озера сидеть,
Где лебедь белоснежный,
Оставя знак прибрежный,
Любви и неги полн,
С подругою своею,
Закинув гордо шею,
Плывет во злате волн.
Или, для развлечения,
Оставя книг ученье,
В досужный мне часок
У добренькой старушки
Душистый пью чаек;
Не подхожу я к ручке,
Не шаркаю пред ней;
Она не приседает,

¹ Вергилий.

Но тотчас и вестей
Мне пропасть наболтает.
Газеты собирает
Со всех она сторон,
Всё сведает, узнает:
Кто умер, кто влюблен,
Кого жена по моде
Рогами убрала,
В котором огороде
Капуста цвет дала,
Фома свою хозяйку
Не за что наказал,
Антошка балалайку,
Играя, разломал, –
Старушка все расскажет;
Меж тем как юбку вяжет,
Болтает всё свое;
А я сижу смиренно
В мечтаньях углубленный,
Не слушая ее.
На рифмы удалого
Так некогда *Свистова*¹
В столице я внимал,
Когда свои творенья
Он с жаром мне читал,
Ах! видно, бог пытал
Тогда мое терпенье!

Иль добрый мой сосед,
Семидесяти лет,
Уволенный от службы
Майором отставным,
Зовет меня из дружбы
Хлеб-соль откусать с ним.

¹ Гр. Д.И. Хвостов.

Вечернею пирушкой
Старик, развеселясь,
За дедовскою кружкой
В прошедшем углубясь,
С очаковской медалью
На раненой груди,
Вспомнит ту баталью,
Где роты впереди
Летел на встречу славы,
Но встретился с ядром
И пал на дол кровавый
С булатным палапом.
Всегда я рад душою
С ним время провождать,
Но, боже, виноват!
Я каюсь пред тобою,
Служителей твоих,
Попов я городских
Боюсь, боюсь беседы,
И свадебны обеды
Затем лишь не терплю,
Что сельских нереев,
Как папа иудеев,
Я вовсе не люблю,
А с ними крючковатый
Подьяческий народ,
Лишь взятками богатый
И ябеды оплот.

Но, друг мой, если вскоре
Увижусь я с тобой,
То мы уходим горе
За чашей круговой;
Тогда, клянусь богами
(И слово уж сдержу),
Я с сельскими попами
Молебен отслужу.

К НАТАШЕ

Вянет, вянет лето красно;
 Улетают ясны дни;
 Стелется туман ненастный
 Ночи в дремлющей тени;
 Опустели злачны нивы,
 Хладен ручеек игривый;
 Лес кудрявый поседел;
 Свод небесный побледнел.

Свет-Наташа! где ты ныне?
 Что никто тебя не зрит?
 Иль не хочешь час единый
 С другом сердца разделить?
 Ни над озером волнистым,
 Ни под кровом лип душистым
 Ранней — позднеею порой
 Не встречаюсь я с тобой.

Скоро, скоро холод зимный
 Рощу, поле посетит;
 Огонек в лачужке дымной
 Скоро ярко заблестит;
 Не увижу я прелестной
 И, как чижик в клетке тесной,
 Дома буду горевать
 И Наташу вспоминать.

ВОДА И ВИНО

Люблю я в полдень воспаленный
 Прохладу черпать из ручья
 И в роще тихой, отдаленной
 Смотреть, как плещет в брег струя.
 Когда ж вино в края поскачет,

Напелясь в чаше круговой,
Друзья, скажите, — кто не плачет,
Заране радуясь душой?

Да будет проклят дерзновенный,
Кто первый грешною рукой,
Нечестьем буйным ослепленный,
О страх!.. смесил вино с водой!
Да будет проклят род злодея!
Пускай не в силах будет пить
Или, стаканами владея,
Лафит с Цымлянским различить!

ИЗМЕНЫ

«Все миновалось!
Мимо промчалось
Время любви.
Страсти мученья!
В мраке забвенья
Скрылися вы.
Так я премены
Сладость вкусил;
Гордой Елены
Цепи забыл.
Сердце, ты в воле!
Все позабудь;
В новой сей доле
Счастливо будь.
Только весною
Зэфир младою
Розой пленен;
В юности страстной
Был я прекрасной
В сеть увлечен.
Нет, я не буду

Впредь воздыхать,
Страсть позабуду;
Полно страдать!
Скоро печали
Встречу конец.
Ах! для тебя ли,
Юный певец,
Прелесть Елены
Розой цветет?..
Пусть весь народ,
Ею прельщенный,
Вслед за мечтой
Мчится толпой;
В мирном жилище,
На пепелище,
В чаше простой
Стану в смиренье
Черпать забвенья
И — для друзей
Резвой рукою
Двигать струною
Арфы моей».

В скучной разлуке
Так я мечтал,
В горести, в муке
Себя услаждал;
В сердце возженный
Образ Елены
Мнил истребить.
Прошлой весною
Юную Хлою
Вздумал любить.
Как ветерочек
Ранней порой
Гонит листочек

С резвой волной,
Так непрестанно
Непостоянный
Страстью играл,
Лилу, Темиру,
Всех обожал,
Сердце и лиру
Всем посвящал.
Что же? — напрасно
С груди прекрасной
Шаль я срывал.
Тщетны измены!
Образ Елены
В сердце пылал!
Ах! возвратися,
Радость очей,
Хладна, тронися
Грустью моей.
Тщетно вызывает
Бедный певец!
Нет! не встречает
Мукам конец...
Так! до могилы
Грустен, унылый,
Крова ищи!
Всеми забытый,
Терном увитый,
Цепи влачи...

ЛИЦИНИЮ

Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице,
Венчанный лаврами, в блестящей багрянице,
Спесиво развалясь, Ветулий молодой
В толпу народную летит по мостовой?
Смотри, как все пред ним смиренно спину клонят;

Смотри, как ликторы народ несчастный гонят!
 Льстецов, сенаторов, прелестниц длинный ряд
 Умильно вслед за ним стремится усердный взгляд;
 Ждут, ловят с трепетом улыбки, глаз движенья,
 Как будто дивного богов благословенья;
 И дети малые и старцы в седилах,
 Все ниц пред идолом безмолвно пали в прах:
 Для них и след колес, в грязи напечатленный,
 Есть некий памятник почетный и священный.

О Ромулов народ, скажи, давно ль ты пал?
 Кто вас поработил и властью оковал?
 Квириты гордые под иго преклонились.
 Кому ж, о небеса, кому поработились?
 (Скажу ль?) Ветулию! Отчизне стыд моей,
 Развратный юноша воссел в совет мужей;
 Любимец деспота сенатом слабым правит,
 На Рим простер ярем, отечество бесславит;
 Ветулий римлян царь!.. О стыд, о времена!
 Или вселенная на гибель предана?

Но кто под портиком, с поникшею главою,
 В изорванном плаще, с дорожною клюкою,
 Сквозь шумную толпу нахмуренный идет?
 «Куда ты, наш мудрец, друг истины, Дамет!»
 — «Куда — не знаю сам; давно молчу и вижу;
 Навек оставлю Рим: я рабство ненавижу».

Лициний, добрый друг! Не лучше ли и нам,
 Смирненно поклонясь Фортуне и мечтам,
 Седого циника примером научиться?
 С развратным городом не лучше ль нам проститься,
 Где все продажное: законы, правота,
 И консул, и трибун, и честь, и красота?
 Пускай Глицерия, красавица младая,

Равно всем общая, как чаша круговая,
Неопытность других в наемну ловит сеть!
Нам стыдно слабости с морщинами иметь;
Тщеславной юности оставим блеск веселий:
Пускай бесстыдный Клит, слуга вельмож Корнелий
Торгуют подлостью и с дерзостным челом
От знатных к богачам ползут из дома в дом!
Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода;
Во мне не дремлет дух великого народа.
Лициний, поспешим далеко от забот,
Безумных мудрецов, обманчивых красот!
Завистливой судьбы в душе презрев удары,
В деревню пренесем отеческие лары!
В прохладе древних рощ, на берегу морском,
Найти нетрудно нам укромный, светлый дом,
Где, больше не страшась народного волненья,
Под старость отдохнем в глуши уединенья.
И там, расположась в уютном уголке,
При дубе пламенном, возженном в камельке,
Вспомнив старину за дедовским фиалом,
Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом,
В сатире праведной порок изображу
И нравы сих веков потомству обнажу.

О Рим, о гордый край разврата, злодеянья!
Придет ужасный день, день мщенья, наказанья.
Предвижу грозного величия конец:
Падет, падет во прах вселенныя венец.
Народы юные, сыны свирепой брани,
С мечами на тебя подымут мощны длани,
И горы и моря оставят за собой
И хлынут на тебя кипящею рекой.
Исчезнет Рим; его покроет мрак глубокий;
И путник, устремив на груды камней око,
Воскликнет, в мрачное раздумье углублен:
«Свободой Рим возрос, а рабством погублен».

БАТЮШКОВУ

В пещерах Геликона
Я некогда рожден;
Во имя Аполлона
Тибуллом окрещен,
И светлой Иппокреной
С издетства напоенный,
Под кровом вешних роз
Поэтом я возрос.

Веселый сын Эрмия
Ребенка полюбил,
В дни резвости златые
Мне дудку подарил.
Знакомясь с нею рано,
Дудил я непрестанно;
Нескладно хоть играл,
Но музам не скучал.

А ты, певец забавы
И друг пермесских дев,
Ты хочешь, чтобы, славы
Стезюю полетев,
Простясь с Анакреоном,
Спешил я за Мароном
И пел при звуках лир
Войны кровавый пир.

Дано мне мало Фебом:
Охота, скудный дар.
Пою под чуждым небом,
Вдали домашних лар,
И, с дерзостным Икаром
Страшась летать недаром,
Бреду своим путем:
Будь всякий при своем.

НАПОЛЕОН НА ЭЛЬБЕ
(1815)¹

Вечерняя заря в пучине догорала,
Над мрачной Эльбою носилась тишина,
Сквозь тучи бледные тихонько пробегала
Туманная луна;
Уже на западе седой, одетый мглою,
С равниной синих вод сливался небосклон.
Один во тьме ночной над дикою скалою
Сидел Наполеон.
В уме губителя теснились мрачны думы,
Он новую в мечтах Европе цепь ковал
И, к дальним берегам возведши взор угрюмый,
Свирепо прошептал:

«Вокруг меня все мертвым сном почило,
Легла в туман пучина бурных волн,
Не выплывет ни утлый в море челн,
Ни гладный зверь не взвоят над могилой —
Я здесь один, мятежной думы полн...

О, скоро ли, напелясь под рулями,
Меня помчит покорная волна
И спящих вод прервется тишина?..
Волнуйся, ночь, над эльбскими скалами!
Мрачнее тмись за тучами, луна!

Там ждут меня бесстрашные дружины.
Уже сошлись, уже сомкнуты в строй!
Уж мир лежит в оковах предо мной!
Прейду я к вам сквозь черные пучины
И гряну вновь погибельной грозой!

И вспыхнет брань! за галльскими орлами
С мечом в руках победа полетит,

¹ Написано после получения известия о том, что Наполеон покинул остров Эльбу и 1 марта 1815 г. высадился во Франции.

Кровавый ток в долинах закипит,
И троны в прах низвергну я громами
И сокрушу Европы дивный щит!..

Но вокруг меня все мертвым сном почило,
Легла в туман пучина бурных волн,
Не выплывет ни утлый в море челн,
Ни голодный зверь не взвояет над могилой —
Я здесь один, мятежной думы полн...

О счастье! злобный обольститель,
И ты, как сладкий сон, сокрылось от очей,
Средь бурей тайный мой хранитель
И верный пестун с юных дней!
Давно ль невидимой стезею
Меня ко трону ты вело
И скрыло дерзостной рукою
В венцах лавровое чело!
Давно ли с трепетом народы
Несли мне робко дань свободы,
Знамена чести преклоняя;
Дымилась грома вокруг меня,
И слава в блеске над главою
Неслась, прикрыв меня крылом?..
Но туча грозная нависла над Москвою,
И грянул мести гром!..
Полночи царь молодой! — ты двинул ополченья.
И гибель вслед пошла кровавым знаменам,
Отозвалось могущего паденье,
И мир земле, и радость небесам,
А мне — позор и заточенье!
И раздроблен мой звонкий щит,
Не блещет шлем на поле браней;
В прибрежном злаке меч забыт
И тускнет на тумане.
И тихо все кругом. В безмолвии ночей
Напрасно чудится мне смерти завыванье

И стук блистающих мечей,
И падших ярое стенанье —
Лишь плещущим волнам внимает жадный слух;
Умолк сражений клик знакомый,
Вражды кровавой гаснут громы,
И факел мщенья потух.
Но близок час! грядет минута роковая!
Уже летит ладья, где грозный трон сокрыт;
Кругом простерта мгла густая,
И, взором гибели сверкая,
Бледнеющий мятеж на палубе сидит.
Страшись, о Галлия! Европа! мщенье, мщенье!
Рыдай — твой бич восстал — и все падет во прах,
Все сгибнет, и тогда, в всеобщем разрушенье,
Царем воссяду на гробах!»

Умолк. На небесах лежали мрачны тени,
И месяц, дальних туч покинув темны сени,
Дрожащий, слабый свет на запад изливал;
Восточная звезда играла в океане,
И зрелась ладья, бегущая в тумане
Под сводом эльбских грозных скал.
И Галлия тебя, о хищник, осенила;
Побегли с трепетом законные цари.
Но зришь ли? Гаснет день, мгновенно тьма сокрыла
Лицо пылающей зари,
Простерлась тишина над бездною седою,
Мрачится неба свод, гроза во мгле висит,
Все смолкло... трепещи! погибель над тобою,
И жребий твой еще сокрыт!

К ПУЩИНУ

(4 мая)

Любезный именинник,
О Пущин дорогой!
Прибрел к тебе пустынный
С открытою душой;

С пришельцем обнимися —
Но доброго певца
Встречать не суетися
С парадного крыльца.
Он гость без этикета,
Не требует привета
Лукавой суеты;
Прими ж его лобзанья
И чистые желанья
Сердечной простоты!
Устрой гостям пирушку;
На столик вощаной
Поставь пивную кружку
И кубок пуншевой.
Старинный собутыльник!
Забудемся на час.
Пускай ума светильник
Погаснет ныне в нас,
Пускай старик крылатый
Летит на почтовых!
Нам дорог миг утраты
В забавах лишь одних.

Ты счастлив, друг сердечный:
В спокойствии златом
Течет твой век беспечный,
Проходит день за днем,
И ты в беседе граций,
Не зная черных бед,
Живешь, как жил Гораций,
Хотя и не поэт.
Под кровом небогатым
Ты вовсе не знаком
С зловещим Гиппократом,
С нахмуренным попом;
Не видишь у порогу
Толпящихся забот;

Нашли к тебе дорогу
Веселость и Эрот;
Ты любишь звон стаканов
И трубки дым густой,
И демон метроманов
Не властвует тобой.
Ты счастлив в этой доле;
Скажи, чего же боле
Мне другу пожелать?
Придется замолчать...

Дай бог, чтоб я, с друзьями
Встречая сотый май,
Покрытый сединами,
Сказал тебе стихами:
Вот кубок; наливай!
Веселье! будь до гроба
Сопутник верный наш,
И пусть умрем мы оба
При стуке полных чаш!

К Галичу

Пускай угрюмый рифмотвор,
Повитый маком и крапивой,
Холодных од творец ретивый,
На скучный лад сплетая вздор,
Зовет обедать генерала, —
О Галич, верный друг бокала
И жирных утренних пиров,
Тебя зову, мудрец ленивый,
В приют поэзии счастливый,
Под отдаленный неги кров.
Давно в моем уединенье,
В кругу бутылок и друзей,
Не зрели кружки мы твоей,
Подруги долгих наслаждений,
Острот и хохота гостей.

В тебе трудиться нет охоты;
Садись на тройку злых коней,
Оставь Петрополь и заботы,
Лети в счастливый городок.
Зайди к жиду Золотареву,
В его, всем общий, уголок;
Мы там, собравшись в кружок,
Прольем вина струю багрову,
И с громом двери на замок
Запрет веселье молодое.
И хлынет пиво золотое,
И гордый на столе пирог
Друзей стесненными рядами,
Сверкая светлыми ножами,
С тобою храбро осадим
И мигом стены разгромим;
Когда ж, вином отягощенный,
С главой, в колени преклоненной,
Захочешь в мире отдохнуть
И, опускаясь в подушку,
Дабы спокойнее заснуть,
Уронишь налитую кружку
На старый бархатный диван, —
Тогда послания, куплеты,
Баллады, басенки, сонеты
Покинут скромный наш карман,
И крепок сон ленивца будет!..
Но рюмок звон тебя разбудит,
Ты вскочишь с бодрой головой,
Оставишь смятую подушку —
Подымешь милую подружку —
И в келье снова пир горой.

О Галич, время неозвратно,
И близок, близок грозный час,
Когда, услыша славы глас,
Покину кельи кров приятный,

Татарский сброшу свой халат.
Простите, девственные музы!
Прости, приют младых отрад!
Надену узкие рейтузы,
Завью в колечки гордый ус,
Заблещет пара эполетов,
И я — питомец важных Муз —
В числе воюющих корнетов!
О Галич, Галич! поспешай!
Тебя зовут и сон ленивый,
И друг ни скромный, ни спесивый,
И кубок, полный через край!

МЕЧТАТЕЛЬ

По небу крадется луна,
На холме тьма седеет,
На воды пала тишина,
С долины ветер веет,
Молчит певича вешних дней
В пустыне темной рощи,
Стада почили средь полей,
И тих полет полнощи;

И мирный неги уголок
Ночь сумраком одела,
В камине гаснет огонек,
И свечка нагорела;
Стоит богов домашних лик
В кивоте небогатом,
И бледный теплится ночник
Пред глиняным пенатом.

Главою на руку склонен,
В забвении глубоком,
Я в сладки думы погружен
На ложе одиноком;

С волшебной ночи темнотой,
 При месячном сиянье,
 Слетают резвою толпой
 Крылатые мечтанья,

И тихий, тихий льется глас;
 Дрожат златые струны.
 В глухой, безмолвный мрака час
 Поет мечтатель юный;
 Исполнен тайною тоской,
 Молчаньем вдохновенный,
 Летает резвою рукой
 На лире оживленной.

Блажен, кто в низкий свой шалаш
 В мольбах не просит Счастья!
 Ему Зевес надежный страж
 От грозного ненастья;
 На маках лени, в тихий час,
 Он сладко засыпает,
 И бранных труб ужасный глас
 Его не пробуждает.

Пускай, ударя в звучный щит
 И с видом дерзновенным,
 Мне слава издали грозит
 Перстом окровавленным,
 И бранны выются знамена,
 И пышет бой кровавый —
 Прелестна сердцу тишина;
 Нейду, нейду за Славой.

Нашел в глуши я мирный кров
 И дни веду смиренно;
 Дана мне лира от богов,
 Поэту дар бесценный;
 И муза верная со мной:

Хвала тебе, богиня!
Тобою красен домик мой
И дикая пустыня.

На слабом утре дней златых
Певца ты осенила,
Венком из миртов молодых
Чело его покрыла,
И, горним светом озарясь,
Влетела в скромну келью
И чуть дышала, преклонясь
Над детской колыбелью.

О, будь мне спутницей младой
До самых врат могилы!
Летай с мечтаньем надо мной,
Расправля легки крылы;
Гоните мрачную печаль,
Пленяйте ум... обманом,
И милой жизни светлу даль
Кажите за туманом!

И тих мой будет поздний час;
И смерти добрый гений
Шепнет, у двери постучась:
«Пора в жилище теней!..»
Так в зимний вечер сладкий сон
Приходит в мирны сени,
Венчанный маком и склонен
На посох томной лени...

МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ ДРУЗЬЯМ

Хочу я завтра умереть
И в мир волшебный наслажденья,
На тихий берег вод забвенья,
Веселой тенью отлететь...
Прости навек, очарованье,

Отрада жизни и любви!
Приблизьтесь, о друзья мои,
Благоговенье и вниманье!
Певец решил умереть.
Итак, с вечернею луною,
В саду нельзя ли дерн одеть
Узорной белой пеленою?
На темный берег сонных вод,
Где мы вели беседы наши,
Нельзя ль, устроив длинный ход,
Нести наполненные чаши?
Зовите на последний пир
Спесивой Семелеи сына,
Эрота, друга наших лир,
Богов и смертных властелина.
Пускай веселье прибежит,
Махая резвою гремушкой,
И нас от сердца рассмешит
За полной пенистою кружкой.
Пускай игривою толпой
Слетят родные наши музы;
Им первый кубок круговой.
Друзья! священны нам их узы;
До ранней утренней звезды,
До тихого лучей рассвета
Не выйдут из руки поэта
Фиалы братской череды;
В последний раз мою цевницу,
Мечтаний сладостных певицу,
Прижму к восторженной груди.
В последний раз, томимый нежно,
Не вспомню вечность и друзей;
В последний раз на груди снежной
Упьюсь отрадой юных дней!

Когда ж восток озолотится
Во тьме денницей молодой,
И белый топол озарится,

Покрытый утренней росой,
Подайте грозд Анакреона,
Он был учителем моим,
И я сойду путем одним
На грустный берег Ахерона.
Простите, милые друзья,
Подайте руку, до свиданья!
И дайте, дайте обещанье,
Когда навек укроюсь я,
Мое исполнить завещанье.
Приди, певец мой дорогой,
Воспевший Вакха и Темиру¹,
Тебе дарю я лень и лиру,
Да будут музы над тобой!..
Ты не забудешь дружбы нашей,
О Пуштин, ветреный мудрец!
Прими с моей глубокой чашей
Увядший миртовый венец!
Друзья! вам сердце оставляю
И память прошлых красных дней,
Окованных счастливой ленью
На ложе маков и лилей;
Мои стихи дарю забвенью,
Последний вздох, о други, ей!..

На тихий праздник погребенья
Я вас обязан пригласить;
Веселость, друг уединенья,
Билеты будет разносить...
Стекитесь резвою толпою,
Главы в венках, рука с рукою,
И пусть на гробе, где певец
Исчезнет в рощах Геликона,
Напишет беглый ваш резец:
*«Здесь дремлет юноша-мудрец,
Питомец нег и Аполлона».*

¹ А.А. Дельвиг.

К НЕЙ

Эльвина, милый друг! приди, подай мне руку.
 Я вяну, прекрати тяжелый жизни сон;
 Скажи, увижу ли, на долгую ль разлуку
 Я роком осужден?

Ужели никогда на друга друг не взглянет?
 Иль вечной темнотой покрыты дни мои?
 Ужели никогда нас утро не застанет
 В объятиях любви?

Эльвина! почему в часы глубокой ночи
 Я не могу тебя с восторгом обнимать,
 На милую стремить томленья полны очи
 И страстью трепетать?

И в радости немой, в блаженстве наслажденья
 Твой шепот сладостный и тихий стон внимать,
 И тихо в скромной тьме для неги пробужденье
 Близ милой засыпать?

К МОЛОДОЙ АКТРИСЕ

Ты не наследница Клероны¹,
 Не для тебя свои законы
 Владелец Пинда² начертал;
 Тебе не много бог послал,
 Твой голосок, телодвиженья,
 Немые взоров обращенья
 Не стоят, признаюсь, похвал
 И шумных плесков удивленья.
 Жестокой суждено судьбой
 Тебе актрисой быть дурной;

¹ Клерон — французская драматическая актриса XVIII века.

² Вольтер.

Но, Хлоя, ты мила собой,
Тебе вослед толпятся смехи,
Сулят любовникам утехы —
Итак, венцы перед тобой,
И несомнительны успехи.

Ты пленным зрителя ведешь,
Когда без такта ты поешь,
Недвижно стоя перед нами,
Поешь — и часто невпопад,
А мы усердными руками
Все громко хлопаем; кричат:
«Bravo! bravissimo! чудесно!»
Свистки сатириков молчат,
И все покорствуют прелестной.

Когда в неловкости своей
Ты сложишь руки у груди,
Или подымешь их и снова
На грудь положишь, застыдишь;
Когда Милона молодого,
Лепеча что-то не для нас,
В любви без чувства уверяешь;
Или без памяти в слезах,
Холодный испуская *ах!*,
Спокойно в кресла упадаешь,
Краснея и чуть-чуть дыша, —
Все шепчут: «*Ах! как хороша!*»
Увы! другую б освистали:
Велико дело красота.
О Хлоя, мудрые солгали:
Не все на свете суета.

Пленяй же, Хлоя, красотой!
Стократ блажен любовник тот,
Который нежно, пред тобою,
Осмелясь, о любви поет,

В стихах и прозою на сцене
 Тебя клянется обожать,
 Кому ты можешь отвечать,
 Не смея молвить об измене;
 Блажен, кто может роль забыть
 На сцене с миленькой актрисой,
 Жать руку ей, надеясь быть
 Еще блаженней за кулисой!

ВОСПОМИНАНИЕ

(К Пушкину)

Помнишь ли, мой брат по чаше,
 Как в отрадной тишине
 Мы топили горе наше
 В чистом, пенистом вине?

Как, укрывшись молчаливо
 В нашем темном уголке,
 С Вакхом нежились лениво,
 Школьной стражи вдалеке?

Помнишь ли друзей шептанье
 Вкруг бокалов пуншевых,
 Рюмок грозное молчанье,
 Пламя трубок грошевых?

Закипев, о, сколь прекрасно
 Токи дымные текли!..
 Вдруг педанта глас ужасный
 Нам слышался вдали...

И бутылки вмиг разбиты,
 И бокалы все в окно —
 Всюду по полу разлиты
 Пунш и светлое вино.